

М. КАРАТЕЕВ

ПО СЛЕДАМ КОНКВИСТАДОРОВ

A stylized illustration of a tropical forest. It features several vertical tree trunks in shades of blue and green. The foliage consists of various palm-like leaves and star-shaped flowers in blue, green, and orange. The background is dark, making the colors of the plants stand out.

**История группы русских колонистов
в тропических лесах Парагвая**

**ПО СЛЕДАМ
КОНКВИСТАДОРОВ**

M. KARATEEFF

Por la Huella de los Conquistadores

(Esbozos sobre la colonización del Paraguay)

BUENOS AIRES

1 9 7 2

M. KARATEEV

ПО СЛЕДАМ КОНКВИСТАДОРОВ

ИСТОРИЯ ГРУППЫ РУССКИХ КОЛОНИСТОВ

В ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСАХ ПАРАГВАЯ

БУЭНОС АЙРЕС

1972

М. КАРАТЕЕВ

ПО СЛЕДАМ КОНКВИСТАДОРОВ

**История группы русских колонистов
в тропических лесах Парагвая**



Новая серия

СУДЬБЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

КАРАТЕЕВ

Михаил Дмитриевич

По следам конквистадоров

©

оформление

Московская информационно-издательская фирма

„МИР И КУЛЬТУРА“

Инновационное объединение АН СССР

Москва

1991

ОТ АВТОРА

Со времени того, что здесь описано, минуло почти сорок лет. Половины участников этих событий уже нет в живых, а в памяти оставшихся постепенно стираются детали прошлого. И вскоре никто уже не сможет поведать о „парагвайской болезни“, охватившей когда-то значительную часть русской эмиграции, и о тех мытарствах и приключениях, которые пришлось переживать тем, кого эта болезнь коснулась и привела в тропические дебри далекой, неведомой страны.

О жизни, работе и бытовых перипетиях русских эмигрантов, живущих в цивилизованных странах и в крупных центрах, останется обширная литература и много письменных свидетельств; имена стяжавших себе известность на всех поприщах науки, искусства и общественной деятельности, будут зафиксированы в „Золотой книге“ и во многих других источниках, легко доступных для будущего историка. Но о жизни эмигрантских „меньшинств“, заброшенных судьбою в экзотические страны, материалов у него почти не будет, и об этом придется особенно пожалеть потому, что именно в таких местах, находящихся вне сферы общественного внимания, жизнь небольших эмигрантских группировок и отдельных лиц изобиловала исключительно интересными, яркими, порою и трагическими событиями, а описать их было некому.

Жизненный калейдоскоп русской эмиграции чрезвычайно богат — нет, вероятно, ни одной страны в мире, которая не дала бы в нем своего узора. Русские эмигранты строили высокогорное шоссе в перуанских Кордильерах, добывали золото в диких дебрях Боливии, участвовали в самых рискованных экспедициях к верховьям Амазонки, попадали в рабство на кофейные

плантации Бразилии, контролировали режим действующих вулканов на Яве, бывали китобоями в Антарктике, сражались в иностранных легионах Африки и Азии, в рядах парагвайской армии воевали в безводных пустынях Чако, проводили дороги на Огненной Земле, становились профессиональными охотниками и ловцами диких зверей в Индонезии и рыбаками на Аляске, с промышленной целью разводили крокодилов во Флориде, были придворными врачами абиссинского негуса, занимались изучением фауны и флоры Австралии, участвовали в раскопках древних городов инков и маев, плавали и водили пароходы по всем морям и рекам мира, — словом, всего не перечесать. Какую Золотую — не книгу, а целую библиотеку можно было бы составить из их воспоминаний, если бы они были написаны и опубликованы!

Эпопея группы отправившихся в Парагвай русских колонистов, в числе которых находился и я, была мною подробно описана в конце тридцатых годов, эти очерки, под общим заглавием „Парагвайская Надежда“, публиковались тогда в газете „Русский в Аргентине“. Но периодическая пресса — плохой хранитель того, что в ней печатается, и ныне этих очерков (в газетных вырезках) сохранилось всего два-три экземпляра.

Настоящая книга является переработанным изданием „Парагвайской Надежды“, которую я сократил почти вдвое, выпустив из нее все злободневное, утратившее актуальность и ныне не имеющее общественно-го или исторического интереса. Этот скромный труд посвящаю всем участникам описанных здесь событий.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В ПОИСКАХ
ОБЕТОВАННОЙ ЗЕМЛИ



ОТЪЕЗД ИЗ ЕВРОПЫ

К началу 1934 года мировой экономический кризис достиг своего апогея. Европа была переполнена безработными и всюду шли новые сокращения и увольнения. В первую очередь это коснулось бесподданных русских эмигрантов, которых западно-европейские страны, в особенности Франция, еще недавно контрактировали на Балканах, гарантируя им постоянную работу. Теперь их массами выбрасывали на улицу и издавали ограничительные законы, практически лишавшие их всякой возможности вновь куда-нибудь устроиться.

Приведу в пример свой собственный случай. В эти годы я окончил в Бельгии университет. У меня сейчас же отобрали прежнее удостоверение личности, где профессия не была обозначена, и выдали другое, в котором я фигурировал как инженер-химик. По новым законам это означало, что я могу работать только как таковой и не имею права ни на один иной вид заработка, даже на продажу на улице газет или шнурков для ботинок. С другой стороны существовала обязательная для всех предприятий норма, ограничивающая число служащих иностранцев десятью, а позже и пятью процентами. В стране, переполненной своими собственными безработными специалистами, шанс получить место инженера при таких условиях фактически равнялся нулю.

В таком же или в похожем положении находились тысячи наших соотечественников. Во Франции (да и в Бельгии) уже нередки были случаи арестов и высылки безработных русских по обвинению в бродяжничестве.

Так как ни одна страна не соглашалась их принять, они возвращались во Францию, где несколько таких повторных арестов грозили им ссылкой на поселение, в Гвиану. И как раз в это время страницы газет заперестрели объявлениями о том, что Парагвай начал широкую колонизацию и предлагает всем желающим льготный проезд, бесплатную землю и всяческую помощь в организации сельского хозяйства.

Для многих сотен людей этот выход являлся единственным спасением и потому, не въедаясь в детали и не теряя времени на всякие дополнительные справки, они устремились в Парагвай.

Наша группа переселенцев, сформировавшаяся в великом герцогстве Люксембургском, по счету была третьей. Две предыдущие, состоявшие, как и наша, из безработных чинов Русского Обще-воинского Союза, выехали из Франции на несколько месяцев раньше.

Все мы ехали почти вслепую: знали только, что колонизацию возглавляет русский генерал Иван Тимофеевич Беляев, уже давно устроившийся в Парагвае, где он тоже получил генеральский чин, и что в Париже имеется его полномочный представитель, некто Горбачев, берущий на себя все хлопоты по получению виз и по отправке колонистов за океан.

Что же касается общей информации, то единственным ее источником служила небольшая брошюра, изданная в Париже тем же Горбачевым, на основе сведений, полученных от генерала Беляева. В ней Парагвай и все ожидающие нас условия труда и жизни расхваливались напропалую: там-де сказочно плодородная почва, здоровый и умеренный климат — точно такой, как на Украине, не бывает засух, нет никаких вредителей, уничтожающих посевы, множество ручьев и рек, изобилующих рыбой, леса чуть ли не наполовину состоят из фруктовых деревьев и полны дичи, всюду есть хорошие дороги, а что касается сбыта, то скупщики периодически объезжают колонистов и берут все на месте. Словом, всем переселенцам гарантировалось полное благосостояние и легкая, привольная жизнь.

Брошюре верили, конечно, не на все сто процентов, но если бы она была правдива хоть наполовину, — и то условия казались нам вполне приемлемыми. К тому

же, к моменту отъезда нашей группы, в газетах появилось сообщение Колонизационного Центра (т.е. того же Горбачева), гласящее что наши предшественники уже полностью обжились в Парагвае и основали возле большого города Энкарнасиона обширный поселок, получивший название „станции имени генерала Беляева“, где уже построена русская церковь, открыты больница, переселенческое управление, школа, заканчивается постройка большого отеля для вновь прибывающих, так как там же, возле этой станицы, будут надеяться землей и все следующие партии колонистов.

Вслед за этим, в Париже вышло два-три номера газеты „Парагвай“, тоже изданные Колонизационным Центром. В них подробно описывались достижения станицы генерала Беляева, перспективы дальнейшей колонизации и публиковались письма первых колонистов, свидетельствующие о их блестящих успехах.

Совсем повеселев, мы принялись за сборы в далекий путь. В нашу группу вошли 32 мужчины, 8 женщин и четверо детей, в возрасте от двух до десяти лет. Возглавил ее бывший начальник Корниловского Военного Училища, полковник Керманов, которому мы единодушно вручили бразды правления, общую кассу и диктаторские полномочия, обязавшись беспрекословно повиноваться в течение первого года, работая „колхозом“, и только по истечении этого срока желающие обретали право перейти на положение „единоличников“ или покинуть колонию. Такая организация, основанная на дисциплине и исключая возможность разногласий и разобщения сил, казалась нам залогом успеха и гарантией того, что наша колония будет в короткий срок прочно поставлена на ноги.

Люксембургское правительство, которое предпочитало раз и навсегда избавиться от безработных русских вместо того, чтобы платить им бесконечные пособия, отпустило на каждого из нас по 3.000 франков и предоставило бесплатный проезд по железной дороге до Гавра. Кроме того, по ходатайству Керманова, имевшего в нашей стране кое-какие связи, нам, также бесплатно, дали штук двадцать охотничьих ружей, конфискованных у браконьеров и десять винтовок военного образца. Сверх этого, мне удалось по знакомству, за

ничтожную цену, приобрести для группы на одной из бельгийских оружейных фабрик восемь новых двухстволок, тридцать револьверов системы Наган и несколько браунингов.

От Буэнос-Айреса до места поселения нам выхлопал бесплатный проезд генерал Беляев. Таким образом, нам надлежало оплатить только свое путешествие пароходом через океан, причем и здесь мы получили некоторую скидку. В результате — даже после покупки основного инвентаря (топоров, пил, лопат, и прочих сельскохозяйственных инструментов, а также полного оборудования кузнечной, слесарной, столярной и сапожной мастерских) — у нас осталось больше половины полученной от Люксембурга суммы. При баснословной дешевизне и рекордно низкой валюте Парагвая (один доллар в то время стоил 440 парагвайских пезо) этого, по приезде на место, вполне хватало на обзаведение скотом и всем что необходимо в хозяйстве, а также на текущие расходы до того времени, когда колония начнет приносить доход.

Таковы, во всяком случае, были теоретические расчеты и надо добавить, что они могли бы осуществиться на практике, если бы налицо оказались два необходимых фактора, которые у нас, увы, отсутствовали: знание дела, за которое мы брались, и достаточное благоразумие.

* * *

Путь наш лежал через Париж и мы задержались там на пути, чтобы осмотреть город и проститься со знакомыми и сослуживцами. Вечером в офицерском собрании РОВСа в нашу честь устроили прощальный ужин, на котором присутствовал весь генералитет. Все были чрезвычайно сердечны, говорилось множество тостов и пожеланий, высказывалась уверенность в нашем блестящем будущем. Но в то же время чувствовалось, что с нами прощаются навсегда, как с людьми, улетающими на другую планету, откуда никому нет возврата. И действительно, из всей нашей группы много лет спустя в Европу возвратился один только Керманов.

Прямо с ужина мы отправились на вокзал, сели в поезд и рано утром были уже в Гавре. Здесь, в ожидании посадки на пароход, нас провели в какой-то трапезный портовый ресторанчик. В этот ранний час он был совершенно пуст, только за одним из столиков сидел прилично одетый молодой человек, который сейчас же обратился к нам по-русски. Это был сотрудник „Последних Новостей“ Андрей Седых, приехавший в Гавр с целью проинтервьюировать нашу группу. Занятый какими-то багажными делами Керманов уполномочил на это меня, мы уселись за столик и за кружкой пива я рассказал А.Седых все, что его интересовало.

Помню, что его особенно поражало полное отсутствие среди нас земледельцев. Он никак не хотел верить, что мы, отправляясь в неведомые края заниматься сельским хозяйством, не имеем в своих рядах хоть кого-либо практически знакомого с этим делом.

— Может быть, среди вас все-таки есть хоть один природный крестьянин? — допытывался он, всматриваясь в заспанные физиономии переселенцев. — Ну, а вот этот? — с надеждой в голосе спросил он, указывая мне глазами на проходившего мимо поручика Дюженко, который, в счет будущего своего крестьянского положения, начал отпускать бороду.

— Такой же земледелец как и все прочие, — пояснил я, — окончил гимназию и военное училище. Прекрасный офицер, но плуг, надо полагать, видел только на картинке.

Андрей Седых сокрушенно умолк. Его подробная статья, посвященная нашей группе, вскоре появилась в „Последних Новостях“. В ней содержались скверные для нас пророчества, но к тому времени, когда этот номер газеты разыскал нас в джунглях Парагвая, многие из них уже сбылись. Позже сбылись и остальные.

Пароход „Липари“, на котором нам предстояло пересечь океан, отнюдь не принадлежал к числу тех трансатлантических гигантов, на которых путешествуют кинозвезды, нувориши и прочие избранники судьбы. Он был полугрузового типа и вскоре предназначался на слом. Но все же нас довольно удобно разместили в каютах третьего класса, всем семейным дали отдель-

ные. Кормили вполне сносно и изредка баловали киносеансами, которые давались прямо на верхней палубе.

Администрация парохода относилась к нам настолько прилично, насколько способны французы относиться к людям безденежным и бесправным, какими были тогда все „нансеновские подданные“¹. Когда стало известно, что в нашей группе есть очень приличный хор и струнный оркестр, это отношение значительно улучшилось и нас даже пригласили дать два-три концерта в салоне первого класса, и за это кое-что заплатили.

На пятый день пути мы прибыли в Лиссабон, где наш „Липари“ должен был грузиться углем. Всех пассажиров пустили на берег, кроме нас: портовые власти категорически заявили, что ни один обладатель нансеновского паспорта на португальскую землю не ступит. Однако, когда Керманов показал членскую карточку французского Союза Комбатантов, а я — бельгийского, для нас двоих все же сделали исключение. Мы побывали в городе, осмотрели его достопримечательности, сделали кое-какие покупки и вечером возвратились на пароход, мысленно навсегда простившись с европейским материком.

У БЕРЕГОВ БРАЗИЛИИ

По выходе из Лиссабона, наш пароход шел без всяких остановок двенадцать дней, на тринадцатый мы увидели берега Южной Америки, а несколько часов спустя вошли в бразильский порт Пернамбуко, расположенный в непосредственной близости от экватора.

Город с моря казался довольно живописным. Над ним, на необычайно синем для европейца небе, висело яростно пылающее солнце и, несмотря на ранний ут-

¹В ту пору бесподанным русским эмигрантам выдавали паспорта Лиги Наций, отделом беженцев, которой заведывал знаменитый норвежский путешественник Фритиоф Нансен. Обладателям таких паспортов ни одна страна в мире не давала въездных виз, если в данный момент не нуждалась в дешевой рабочей силе.

ренный час, жара была одуряющая. На берегу виднелись всевозможные пальмы и другие тропические растения, с кричаще-яркой зеленью, лишенной привычных для нас мягких тонов. Общее впечатление грандиозного лубка. По пристани сновали люди, среди которых не было заметно белых.

Русским сходить на берег, как водится, и тут не разрешили. Остальных пассажиров спускали по двум трапам, один из которых был предназначен только для первого класса. Заметив, что там почти не проверяют документов, мы с женой пристроились к этой очереди и, несколько минут спустя, без всяких осложнений очутились на берегу. После нас еще двое благополучно проделали то же самое, но следующего уже накрыли и больше не удалось спуститься никому.

Оглядевшись по сторонам, мы поняли, что самый город находится в стороне от порта, но трудно было определить — где именно, так как даль закрывали деревья, среди которых всюду виднелись одинаково невзрачные постройки. Первым нашим намерением было взять такси, но таковых нигде не было видно и волею-неволею пришлось отправиться в путь пешком. От портовой площади лучами расходилось несколько мощных булыжником улиц. Выбрав наиболее широкую, мы зашагали по ней, полагая, что рано или поздно она нас выведет в центральную часть города.

Однако, пройдя с версту, мы очутились в самой настоящей негритянской деревушке, которая была бы к месту где-нибудь в дебрях Африки. Хижины из тростника и пальмовых листьев разбросались тут в причудливом беспорядке, без всякого намека на улицы; кое-где среди них виднелись жилища, видимо, местной аристократии, сооруженные из ящичных досок и расклепанных жестянок. Землю покрывала ярко-зеленая трава, в которой пестрели красные, белые и синие цветы, видом похожие на европейские вьюнки, но размером с тарелку. Поселок тонул в зарослях пальм различных сортов: на одних висели кокосовые орехи, на других нечто вроде дынь, на третьих огромные гроздья каких-то желтых шариков, на четвертых что-то похожее на плоды чинары, но с человеческую голову величиной.

Из каждой хижины при нашем приближении высыпала куча полуголых негров, которые долго провожали нас глазами, — видно белый человек забредал сюда нечасто. Толпа негритят бежала за нами всю дорогу, что-то лопоча и протягивая черные лапки за подачкой.

Нас так захватила эта неожиданная экзотика, что мы не хотели поворачивать обратно и продолжали двигаться прямо. Наконец деревушка осталась позади, деревья тоже поредели, и мы увидели перед собой довольно широкую реку. На ее противоположном берегу раскинулся город. Чуть в стороне от нас виднелся железнодорожный мост, без перил и почти без всякого настила, — никакой иной возможности попасть отсюда на другой берег, по-видимому, не было. В начале мы не отваживались на такое путешествие, боясь, что посреди реки нас может настигнуть поезд, но заметив, что группа негров подошла к мосту и спокойно зашагала по шпалам, мы последовали их примеру и вполне благополучно совершили переправу.

* * *

Пернамбуко совсем не похож на европейские города и общее от него впечатление могу выразить кратко: в таком месте мне бы жить не хотелось. Но в деталях есть немало живописного. Все дома одноэтажны и обычно носят какие-то признаки мавританского стиля, разумеется, за исключением тех, которые имеют стиль явно лачужный. Каждый из них окружен просторным навесом с претензией на колоннаду и уютится в зелени небольшого садика. Здесь можно увидеть все растения, в Европе выращиваемые в оранжереях, горшках и кадках: цитрусовые деревья, пальмы, олеандры, азалии, мирты, кактусы, агавы и т.п. Кроме этого — масса совершенно неизвестных нам растений, с крупными, красивыми цветами и неведомыми европейцу плодами. Особенно запомнилось мне одно дерево: листвой оно напоминало каштан, но на нем одновременно цвели великолепные, густо-малиновые цветы, диаметром в четверть метра и висели какие-то коричневые плоды, размером с хороший арбуз. Из деревьев, похожих

на европейские, мы видели только акацию, но висевшие на ней стручки были около метра длиной.

Белых прохожих почти не встречалось и на нас все оглядывались с явным любопытством. Чувствуя, что мы еще не в самом центре города и неизвестно, как туда попасть, я догнал шедшего впереди католического священника, надеясь, что он говорит по-французски и укажет нам дорогу. Но когда „падре“ обернулся ко мне, я чуть не отскочил в сторону: он был прокаженным, все лицо его пестрело характерными белыми пятнами и гнойными струпьями. На беду он действительно говорил по-французски и с видимым удовольствием пустился в пространные объяснения. Стараясь не обнаружить чувства брезгливости, я выслушал его до конца, поблагодарил и поспешил ретироваться.

Нужно сказать, что больные этой страшной болезнью в большинстве стран Южной Америки, особенно в Бразилии и в Парагвае, пользовались тогда почти полной свободой. Им запрещалось открыто показываться в столицах, но в лепрозории их никто не загонял и в провинции они всюду разгуливали без всякой помехи. Местное население считает проказу почти незаразной и простой народ совершенно не брезгует обществом прокаженных. Долго практикующие здесь русские врачи позже мне подтвердили, что эта болезнь в Южной Америке толи выродилась, толи у населения выработался к ней иммунитет, но они считают, что восприимчивых к заразе тут осталось не более десяти процентов. Один из моих знакомых русских в Парагвае заразился проказой, но обнаружив болезнь в начальной стадии, полностью вылечился.

Добравшись до центра, мы убедились, что он никакими достоинствами не блещет и за отсутствием зелени выглядит хуже периферии. Тут, вокруг пыльной площади, стояло несколько двухэтажных общественных зданий, стены которых были сплошь иссечены пулями — следы очередной революции.

Побродив по городу несколько часов, до нитки мокрые от пота, но полные новых впечатлений, мы возвратились на пароход, который на следующее утро отшвартовался и взял курс на юг.

На третий день пути, часов в семь вечера, по-носу показались фиолетовые очертания берега, а когда тропически-быстро настала ночь, над ним вспыхнуло зарево огней, по мере приближения парохода охватывающее нас полукругом. Лавируя между темными островами и торчащими из воды скалами, мы входили в бухту Рио-де-Жанейро, но города еще не видели. Наконец, обогнув какой-то утес, наш „Липари“ вошел в гавань и как по волшебству сразу очутился в центре раскаленной добела подковы береговых огней.

Перед высыпавшими на палубу пассажирами развернулось зрелище феерической красоты. В Рио как раз была международная выставка и весь город был иллюминирован. Прямо перед нами дыбились громады небоскребов, купола иobelisks, сплошь залитые разноцветными огнями; от них вправо и влево текли по берегу потоки таких же огней, почти смыкаясь в кольцо. Многочисленные пароходы и военные корабли, стоявшие на рейде, тоже были расцвечены огнями иллюминации. Над всем этим, высоко в черном небе висел огромный сияющий крест. Только утром мы узнали, что это сорокаметровая статуя Христа с простертыми в стороны руками, стоящая на самой высокой из скал, окружающих город. Сильными электрическими лампами во всю величину на ней выложен крест, зажигающийся по ночам и видимый далеко с моря.

* * *

В полночь „Липари“ бросил якорь на рейде и пароходный комиссар объявил, что пришвартуемся в восемь утра, после чего все пассажиры, кроме русских, на целый день могут отправиться в город. К этому нам было не привыкать и мы разошлись по каютам в надежде, что утром из нашего нансеновского положения найдется какой-нибудь выход.

Так оно и случилось. Стоя у трапа, по которому спускались последние пассажиры, я обратил внимание на вертевшегося внизу бразильянца, который погля-

дывал на меня и на моих спутников, как бы недоумевая — почему мы не сходим на берег? Почти произвольно я поманил его рукой. Он мигом поднялся на борт и мы вступили в переговоры, которые быстро завершились следующим соглашением: всех, кто согласится уплатить за это по двенадцать мильрейсов¹), мой собеседник обязуется свести с парохода, посадить в автомобили и в течение нескольких часов возить по городу и окрестностям, показывая все достопримечательности. Потом он поможет нам сделать покупки и доставит обратно на пароход.

Желающими оказались почти все и условие было выполнено честно: мы объехали город и окрестные пляжи, вдоль которых на многие километры тянулись великолепные виллы, осмотрели всемирно знаменитый ботанический сад, павильоны выставки и многое другое. Потом накупили сувениров, яств, напитков и баснословно дешевых тут тропических фруктов, после чего полные незабываемых впечатлений возвратились на пароход. Описывать этих впечатлений не буду, скажу только, что поездил я на своем веку немало, но более красивого города не видал.

* * *

На следующий день мы пришли в порт Сантос, где „Липари“ грузился бананами и простоял более суток. Тут все прошло по обычному трафарету: на берег нам сойти не разрешили и все-таки добрая половина группы в городе побывала. С моря он довольно красив, но когда мы очутились на его узких и довольно грязных улицах, это впечатление у нас быстро рассеялось. К тому же было одуряюще душно. В Пернамбуко все это в значительной степени окупалось яркой экзотикой, а здесь над нею заметно доминировали черты безрадостного туземного провинциализма. Белых лиц даже на главной улице было видно очень немного. Окрестности города живописны и пляжи великолепны, но мы не имели ни времени, ни возможности их осмотреть.

¹В то время это было около четверти доллара.

По выходе из Сантоса мы стойко выдержали довольно сильную бурю и дня через три или четыре пришвартовались в Монтевидео.

К чести уругвайских властей следует отметить, что это было единственное место, где нам не поставили в вину нашего русского происхождения и выпустили на берег наравне со всеми. Мы не замедлили этим воспользоваться и гурьбой устремились в город, который произвел на всех нас отрадное впечатление. Без всяких признаков экзотики, он был провинциально уютен, опрятен и чист, чего, к сожалению, о нем никак нельзя сказать сейчас. После Бразилии, особенно „родственной“ тут выглядела уличная толпа: в ней совершенно не было заметно цветных элементов и по виду она ничем не отличалась от европейской. Витрины магазинов ломились от товаров превосходного качества и все, что мы тут видели свидетельствовало об изобилии земных благ и достатке этой маленькой страны.

Под вечер наш „Липари“ снялся с якоря, за ночь пересек широчайшую Рио-де-Ла-Плату и утром прибыл в Буэнос-Айрес. Наше путешествие через океан, длившееся почти месяц, было закончено.

ВСТРЕЧА С ВОЗВРАЩЕНЦАМИ

Утром с „Липари“ сошли все полноправные пассажиры, после чего буксир утащил его на товарную пристань, где он принялся разгружать свои трюмы. Нам же по обычаю объявили, что никто из русских на берег пущен не будет и всем надлежит ожидать на пустом пароходе пересадки на другой, который отправится в Парагвай только через пять дней.

Перспектива была не из приятных, тем более что все вещи, даже мелкий ручной багаж, у нас отобрали и увезли в таможню, позволив оставить только пижамы и умывальные принадлежности, но потом отобрали и их. Вообще нужно сказать, что даже нас, не избалованных международной корректностью русских эмигрантов, изумила абсурдная строгость аргентинских

портовых и таможенных властей. Складывалось впечатление, что тут каждый по мере сил и возможностей старается сделать нам какую-нибудь неприятность. Даже спуститься по трапу опустевшего парохода и купить газету у стоявшего тут же газетчика никому из нас не позволили. Впрочем мы тогда еще не знали о магической силе взятки, при помощи которой в Южной Америке можно двигать горы.

К счастью о приезде нашей группы узнал местный русский священник, отец Константин Изразцов, пользовавшийся в Аргентине большим влиянием. На следующее утро он приехал к нам на пароход и сообщил, что под его поручительство всем разрешено свободно выходить в город.

Батюшку сопровождало несколько русских, среди которых оказался казачий офицер Хапков, уехавший в Парагвай в составе первой группы колонистов полгода тому назад. Теперь он возвращался во Францию. Разумеется, его сейчас же обступили толпой и посыпались вопросы:

— Ну, как там в Парагвае? Какую и где дают землю? Как к нашему брату относятся парагвайцы? Каковы условия жизни и труда? Почему вы оттуда уехали? — и т.п.

— Да трудно объяснить все это вам, совершенно не представляющим себе парагвайской действительности, — ответил Хапков. — На первый взгляд все как будто бы ничего: и страна хорошая, и народ симпатичный, и земля прекрасная, и растет на ней все, что посадите. Но попробуйте сначала очистить участок под посевы! Дают вам полосу леса, абсолютно непроходимого: все заплетено лианами и колючками, без топора шагу ступить нельзя. Срубите вы дерево, оно повисает на лианах и не падает. Срубите все соседние, образуется гигантская куча, которую никакими силами не растащишь. Остается только одно: жечь все на месте. Лес сырой, горит плохо, приходится повторять эту операцию много раз. В результате мелочь сгорит, а стволы и пни останутся. Стволы можно распилить и вытащить, но это каторжный труд, ибо деревья там твердые и тяжелые как железо. А с пнями вообще ничего не поделаешь, корни у них такие, что корчевать и не пробуй.

Пахать на подобном поле нельзя несколько лет, пока пеньки не сгниют. В ожидании этого, парагвайские крестьяне кое-как взрыхляют землю мотыгами и сажают между пнями маниоку и кукурузу, довольствуясь тем, что вырастет. Запросы у них невелики: есть над головой навес, а на обед вареная маниока, вот и ладно. У нас же потребностей больше и удовлетворить их при таком хозяйстве никак нельзя.

— Вы, наверное думаете, что крестьяне там живут, как в русских деревнях, — продолжал он. — Как бы не так! Парагвайское жилище — это простой навес, или в лучшем случае хибарка, со стенами из вбитых в землю кольев, даже не обмазанных глиной. Горбачевскую брошюру читали? Помните там про умеренный украинский климат! Ну, вот, поезжайте и увидите какая это Украина! Жара аховая, лишаящая вас всякой энергии. А работать надо, да еще как! Ну, это, конечно, не все. Видите мои руки? — показал Хапков. Они были густо покрыты мозолями, шрамами и какими-то темными пятнами. — Все это будет и у вас. Подкожных блох будете вытаскивать из своих передних и задних конечностей сотнями. Но блохи, в конце концов, зло не такое страшное, как комары и муравьи: первые не оставляют вас в покое ни днем ни ночью, вторые пожирают почти все, что вы посеяли. Борьба с ними без денег невысказано, а деньги у вас скоро кончатся и новых вы не заработаете. Конечно, все переболеете акклиматизационными болезнями: будут у вас поносы, солнечная чесотка, по телу пойдут нарывы и язвы. Впрочем, через несколько месяцев, когда кровь приспособится к новым условиям, все это само пройдет. Словом, не хочу вас запугивать, но выдержат там очень немногие, остальные разбегутся кто куда, как разбежались две первые группы.

— А что представляет собой станица генерала Беляева и много ли в ней сейчас народа? — осведомился я.

— Станица? — с недоумением переспросил Хапков. — Да вот, сами увидите. А народу там еще немного осталось. Лес, конечно, больше никто не пытается корчевать, но некоторые из имевших деньги купили себе у парагвайцев готовые чакры и на них ко-

выряются. Ну, всего хорошего, мне пора, — заторопился он. По всему было заметно, что разговор на эту тему не доставлял ему удовольствия.

Проводив гостя мы молча переглянулись. Говорил Хапков спокойно, без всяких признаков озлобления и не обвинял никого, в словах его чувствовалась правда. Судя по могучей фигуре и показанным нам рукам, отнести его к разряду малодушных и убоявшихся труда тоже было нельзя. По всему было видно, что этот человек сдался только после упорной борьбы.

— Ну, нас много, а на миру и смерть красна, — утешались мы. — Одиночки, конечно, не выдерживают, а сообща, Бог даст, справимся.

В тот же вечер нам довелось беседовать с другим беглецом из Парагвая, капитаном Ардатовым, уехавшим со второй группой. Этот оказался гораздо прямолинейней Хапкова.

— Станица генерала Беляева? — переспросил он. — Как же, как же, цветущий край, где все обильем дышит и где я имел сомнительное удовольствие побывать. Вам, конечно, тоже прожужжали уши чудесным украинским климатом, величием города Энкарнасиона, благоустроенной станицей, школой, церковью, госпиталем с тремя врачами, широкой помощью правительства и прочим? Втирали все эти очки и нам, а на деле получилось так: приезжаем в Энкарнасион — дыра прямо зловещая, даже на приличное село не похоже. Тут нашу группу встретил генерал Беляев — симпатичный, ласковый, всем нам страшно понравился. „Добро, говорит, пожаловать, дорогие! Сейчас я вас помещу в здешней казарме, накормлю, дадим вам денек отдохнуть, а потом отвезем в станицу“.

Ну, пришли в казарму: голая комната с цементным полом, даже сесть не на что. Принесли парагвайский чай — какую-то бурду без сахара и без хлеба. Выпили мы его и ждем что дальше последует. Но генерал говорит: „Извините, господа, Парагвай страна бедная и больше ничего предложить вам не может“.

На другое утро появился какой-то обшарпанный дядя, генерал его нам представил: станичный атаман. Подали и подводы, в каждую впряжено по шести волов. Смотрим мы и диву даемся: зачем, думаем, в та-

кие маленькие телеги по целому стаду впрягли? Но эта загадка вскоре разъяснилась: дорога, оказывается, такая, что по ней и в сухую пору шестерик волов еле тянет, а после хорошего дождя на нее и не суйся. Ну, значит, тронулись. Не успели проехать и полпути, как пошел дождь, к счастью, не очень сильный, но все же дорогу начало быстро развозить. Вещи наши и дети были на телегах, туда же пристроили дам, а сами топали пешком, по щиколотку в грязи; от Энкарнасиона ехать надо было всего десять верст, а ушел на это путешествие целый день. Начало темнеть, когда телеги остановились. Атаман говорит: „Слезай, ребята, приехали в станицу!“

Сначала мы подумали, что он шутит: кроме огромной поляны и окружающего ее леса вокруг ничего не было видно. Наконец заметили на опушке жалкую хибарку — стены из плетня, крыша соломенная — и спрашиваем: а это что, школа, больница или отель для приезжающих? Атаман говорит: „Нет, это мое жилище, оно же и станичное управление. А что касается отеля, то пожалуйста, он тоже тут рядом. Его начала строить первая группа, но недостроив разбежалась, так что вам самим придется его закончить“.

С этими словами подвел он нас к нескольким вкопанным в землю столбам. Сверху были положены жерди для крыши, но ни самой крыши, ни стен не было в помине. Атаман торопит: „Выгружайтесь, не задерживайте возчиков!“ Ну, сложили мы вещи в „отель“ и стоим как дураки. Атаман пожелал нам спокойной ночи и ушел. Моросит дождь, темно, хоть в морду бей, мы мокрые и усталые как собаки, с нами, заметьте, женщины и дети, а обсушиться нельзя и деваться некуда, нет даже огня. Сами понимаете, какие тут благодарности и пожелания сыпались в адрес генерала Беляева, Горбачева и прочих благодетелей, причастных к этому делу!

Наконец решили — не пропадать же так! Принялись при свете двух электрических фонариков, которые у нас нашлись, лазить на карачках по кампе и рвать мокрый бурьян. Закрыли им часть крыши и кусок стены, чтобы не забивало дождем.

Утром показалось солнце, мы обсушились и давай осматриваться. Видим, не ошиблись, никакой станицы нет. Пришел атаман — единственный, кажется, человек, оставшийся тут из первой группы, и говорит: „Можете выбирать себе по куску леса, кому где нравится, и приступать к расчистке. “А где же, спрашиваем, инвентарь? — Какой, отвечает, вам еще инвентарь? Все надо покупать самому. Дают только землю, да и то с нею дело темное: говорят, она принадлежит вовсе не казне, а какому-то крупному помещику и очень возможно, что он нас отсюда выпрет, как только мы ему подкорчем немного леса,. Ну, попробовал кое-кто из нас рубить лес и строить себе хибарки, но куда там! Деревья поблизости остались только никуда не годные и кривые, из них и столба не выкроишь. Не прошло и месяца, как почти все разбежались.

— Ну, а хоть паек-то вам давали? — полюбопытствовал я.

— Привозили раз в неделю фасоль, кукурузу и мясо. Но ни муки, ни хлеба. Мясо в такой жаре не то что неделю, и до вечера неохранишь, приходилось резать его на полосы, вялить на солнце, а потом полувонючим варить. Этим и ограничилась вся помощь „Колонизационного Центра“, который оказался частным предприятием генерала Беляева. Сам он имел благоразумие в „станцию“ с нами не поехать — прямо из Энкарнасиона повернул оглобли домой.

— Простите, капитан, за вопрос, — сказал кто-то, — а вы с досады не сгущаете ли краски?

— Зачем я стал бы их сгущать? Ведь через неделю вы сами туда попадете и увидите все это воочию. А месяца через три-четыре, уверен, почти все будете в Аргентине, вот тогда и продолжим этот разговор.

Когда мы передали все это возвратившемуся с берега Керманову, он только досадливо отмахнулся:

— Охота вам слушать всяких неврастеников и брехунов! Что же они, по-вашему, заслуживают большего доверия чем, известный всему русскому Зарубежью генерал? Надо просто гнать в шею подобных провокаторов!

Мы не знали, что и думать. Если даже в рассказах возвращенцев были преувеличения, то все же от хоро-

шей жизни не бегут, а они сбежали. Было очевидно, что на практике все получается далеко не так гладко, как в теории.

А будущее показало, что в этих рассказах особых преувеличений не было. Месяца два спустя, в газетах появился официальный отчет русского священника, отца Михаила Кляровского, который специально ездил обследовать „станицу имени генерала Беляева“ и положение тамошних колонистов. Никакой станицы он не обнаружил и, по его словам, „нашел только пустое место, почему-то названное станицей, да несколько русских семей, которые находились в ужасном положении. Они плакали и проклинали тех, по чьей недоброй воле туда попали“.

ВВЕРХ ПО ПАРАНЕ И ПАРАГВАЮ

Останавливаться на описании Буэнос-Айреса не стоит: об этом огромном городе, одном из крупнейших в мире, писалось уже столько, что каждый читатель представляет себе его почти так же хорошо, как Париж или Нью-Йорк. Отмечу только очень удобную планировку улиц и систему нумерации домов — в совокупности это позволяет ориентироваться тут гораздо легче, чем в европейских столицах.

Здесь кипела и деловая, и праздная жизнь, последняя почти не замирала и ночью. Из ресторанов и увеселительных заведений лились приторные напевы всевозможных танго, витрины бесчисленных магазинов были великолепны, изобилие переливалось через край, а дешевизна нас просто поразила. Когда, покупая что-нибудь, мы спрашивали цену и сравнивали ее с европейскими, нам первое время казалось, что мы плохо поняли торговца или что он над нами потешается. И группа воздержалась тут от широких закупок лишь потому, что в Парагвае, по уверениям старожилов, все нам необходимое стоило еще дешевле.

Как раз в эти дни в Буэнос-Айресе происходил всемирный католический конгресс. Весь город был по этому случаю нарядно разукрашен, а по ночам сиял огнями грандиозной иллюминации. На главных улицах,

где к вечеру останавливали автомобильное движение, густо толпился празднично одетый народ, среди которого виртуозно и лихо работали карманные воры: они, как и католики, но с более практическими целями, съехались на этот конгресс со всех концов земли. Полиция неустанно предупреждала об этом публику через громкоговорители, но несмотря на нашу бдительность, у троих в первый же день вытащили из карманов бумажники.

В ту пору здесь еще царили строгие нравы. На улицах преобладали темные костюмы и закрытые платья; в спортивной рубашке, без галстука, если даже сверху был одет отличный пиджак, мужчину ни в один ресторан или кинематограф не впускали; аргентинские женихи имели право встречаться с невестой только раз в неделю, в дверях ее дома, под неусыпным наблюдением выглядывающей из окна мамы. Во всех кафе и ресторанах для одиноких мужчин и для семейных существовали особые отделения.

* * *

На пятый день вечером мы, со всем нашим багажом, оставшимся в таможне, были погружены на большой, довольно комфортабельный речной пароход и пустились в дальнейший путь. Кто-то из пароходного персонала, отнюдь не отличавшегося любезностью (традиция, которая на аргентинских пароходах свято соблюдается и до сих пор), все же милостиво сообщил, что вверх, по рекам Паране и Парагваю, нам предстоит плыть до Асунсиона около пяти суток и что по пути будет двадцать две остановки в прибрежных городах и городках. Забегая вперед скажу, что все эти остановки были непродолжительны и что нам, русским, как водится, нигде ступить на берег не разрешили.

Дельту Параны, которая довольно живописна и изобилует буйной растительностью, мы прошли ночью, а следующие сутки нашего речного пути были весьма небогаты впечатлениями. Огромная и многоводная Парана делится тут на несколько рукавов, их пологие и поросшие мелким ивняком берега однообразны до уныния и лишь чуть отраднее выглядят многочислен-

ные островки, покрытые свежей зеленью. Ничего живого, даже птиц здесь почти не было видно.

Почти такое же однообразие пейзажа сопровождало нас и на следующий день, только берега местами стали повыше, да изредка на них, кроме низкорослых ив, можно было увидеть другие, более крупные деревья, а позже и одиночные пальмы.

После полудня мы обратили внимание на какие-то темные облака, клубившиеся в большом отдалении, над левым берегом. Через час эти облака, приблизившись, стали перекидываться через реку и оказались огромными стаями саранчи. Мы как раз проезжали мимо аргентинской провинции Энтрериос, которая является главным поставщиком этих насекомых не только на Аргентину, но также на Парагвай, Уругвай и смежные области Бразилии. До самой ночи летели эти полчища мимо нашего парохода, держа путь на север. С непривычки мы пришли в ужас, думая, что к нашему приезду Парагвай будет обращен в пустыню. Но пассажиры аргентинцы нас заверили, что это „Пока коса“ (пустыки) и что в нынешнем году саранчи уродилось необыкновенно мало. Действительно, как мы позже узнали, до Парагвая она не долетела. Но впоследствии мне не раз приходилось наблюдать результаты ее опустошительных нашествий.

На третий день сделалось заметно жарче и вид берегов начал постепенно меняться. На них все чаще стали виднеться пальмы, а потом и целые пальмовые рощи; появились и другие деревья, свойственные субтропикам. Из прибрежных лагун при нашем приближении то и дело тяжело поднимались стаи диких гусей и уток, которых, видимо, от начала века здесь никто не беспокоил. Наконец, под вечер, совсем близко от парохода из воды медленно высунулась корявая морда, а за нею и спина порядочного крокодила. Появление нового „земляка“ группа приветствовала преувеличенно радостными криками. Вероятно многие, как и я, только в этот момент полностью осознали, что с нашим привычным прошлым навсегда покончено и мы переступили порог нового мира, где неведомо как распорядится нами судьба...

Наутро следующего дня пейзаж снова изменился: берега реки начали одеваться густым, но пока еще низкорослым лесом. За полдень мы миновали последний из больших аргентинских городов — Корриентес, и вскоре Парана почти под прямым углом повернула на восток. С севера в нее тут впадает не менее многоводная река Парагвай, по которой шел наш дальнейший путь. Слева от нас потянулось теперь аргентинское Чако, а справа — берега нашей обетованной земли — Парагвая.

Тут ландшафт стал уже совсем иным. По обоим берегам вытянулись стены высокого, непроницаемого леса, обильно перевитого лианами. На его темном фоне, у самой воды, тут и там виднелись салатно-зеленые заросли гигантского бамбука. С аргентинской стороны они часто расступались, давая простор широким, болотистым лагунам, в которых лениво копошились крокодилы, группами бродили поджарые розовые фламинго, да неподвижно, как часовые, стояли на одной ноге белые цапли и толстоклювые южноамериканские марабу.

Но наше внимание, по вполне понятным причинам, гораздо больше привлекал парагвайский берег, от которого мы шли в непосредственной близости. Тут не было ни лагун, ни болот, — высокий девственный лес тянулся мимо нас бесконечной стеной. В нем различали мы пальмы, эвкалипты, мимозы и множество совершенно неведомых нам деревьев, по ветвям которых деловито сновали небольшие, рыжевато-серые обезьяны. Изредка прибрежные заросли раздвигались, образуя маленькую поляну: на ее опушке обычно ютилась одинокая и до предела примитивная лачуга, из которой при приближении парохода выкатывалась ватага полуголых, смуглых ребятишек. Иногда шагах в двадцати от них нежилась на песке с полдюжины крокодилов и это соседство, по-видимому, нисколько не беспокоило ни одних, ни других. Позже мы узнали, что здешний крокодил „жакаре“ существо довольно мирное, промышляет он, главным образом, водоплавающей птицей и на человека может напасть только в порядке самозащиты.

Едва успело зайти солнце, как землю окутал мрак быстро наступающей тропической ночи. Только мириады необыкновенно ярких светлячков огненными трассами во всех направлениях прожигали тьму. Казалось, что здесь только что беззвучно разорвалась грандиозная, прилетевшая из космоса ракета-фейерверк и ее бесчисленные искры огненным дождем оседают на черные берега реки.

На следующий день, пополудни, наш пароход бросил якорь посреди реки: ввиду обмеления Парагвая, вызванного сильной засухой, он дальше идти не мог. К счастью до Асунсиона отсюда оставалось не более десяти километров. Нас перегрузили на подошедший колесный пароходик, а багаж на баржу, которую он вел на буксире.

Не проехали мы и двух верст после этой пересадки, как к нам приблизился быстроходный военный катер. На его баке стоял невысокий человек с бородой, в форме парагвайского дивизионного генерала. Это был столь прошумевший в те годы И.Т.Беляев. Кроме него, на катере находилось еще четыре парагвайских офицера, все они тоже оказались русскими.

Как только генерал поднялся на борт, Керманов отрапортовал ему о благополучном прибытии группы, затем принялся представлять всех нас. Беляев был добродушен, приветлив и держался просто, без всяких потуг на сановное величие. Едва закончились рукопожатия, он отвел Керманова в сторону и под нашими пытливыми взорами они минут пять о чем-то вполголоса совещались. Затем Керманов, обращаясь к нам, объявил:

— Господа! Его превосходительство предлагает нас, как образцовую группу, на которую возлагаются особые надежды, отправить не в станицу его имени, а на север страны, в район города Концепсиона, где все условия будут несравненно лучше. Я считаю, что нам остается только поблагодарить генерала и принять это великодушное предложение, что я от имени группы и сделал. Пароход на Концепсион отправляется сегодня вечером.

Некоторые приняли это известие безучастно, но у многих физиономии вытянулись. Энкарнасион, возле

которого до сих пор селили колонистов, был расположен в субтропической и сравнительно обжитой местности, где достаточно было переплыть на пароме реку, чтобы попасть в большой аргентинский город Посадос, тогда как Концепсион находился в другом конце страны, в тропической зоне и на сотни верст вокруг не было ни одного мало-мальски культурного центра. Условия жизни в этом районе были нам совершенно неизвестны и едва ли могли сулить что-либо хорошее. Но мы были связаны воинской дисциплиной и добровольно данным обязательством безоговорочно подчиняться директивам Керманова, который теперь и решил самостоятельно нашу общую судьбу.

Заметив на некоторых лицах явно выраженное неудовольствие, генерал Беляев поспешил добавить:

— Вам, гопода, будет там во всех отношениях лучше! Прежде всего, вам нужен один общий участок земли, не меньше тысячи гектаров, кроме того, полковник говорит, что за вами последуют другие группы из Люксембурга — им, конечно, тоже надо дать землю рядом. Возле Энкарнасиона вы не поместитесь, а в концепсионском округе казенной и бесплатной земли непочатый край, там можно посадить десятки тысяч колонистов, и то тесно не будет! Очень важно и то, что земля там гораздо плодороднее, воды больше и жизнь значительно дешевле. Но самое главное — вы будете там первыми и, естественно, явитесь господами положения и ядром будущей колонизации, тогда как в Энкарнасин понаехал всякий сброд и с первых же дней вам бы там пришлось дышать атмосферой интриг и разложения. Вот почему я и выбрал для вас это новое, великолепное место, куда мы поедем вместе, и я вас оставлю только тогда, когда все будет налажено и устроено.

Воспользовавшись тем, что Керманов на минутку отделился от группы, обступившей генерала, я подошел к нему и сказал:

— Николай Петрович, а не слишком ли рискованно набум тащить туда женщин и детей? Ведь судя по карте, этот Концепсион находится у черта на куличиках, на границе необитаемого Чако и совсем близко от

Мато Гросо — самого дикого и неразведанного угла Бразилии.

— Пустяки! Мы не в Чако едем и не в Мато Гросо, а в Концепсион, а это, говорят, второй по величине город Парагвая. Генерал Беляев знает страну получше нас и если он говорит, что там нам будет хорошо, значит туда и надо ехать без всяких разговоров.

Спорить было бесполезно и побуждения Кераманова я хорошо понимал: в концепсионском районе, в случае расширения колонизации, ему было обеспечено первенство и главенство, а в Энкарнасионе уже не было недостатка во всяких начальниках и атаманах.

— ...ждут вас с нетерпением, как будущий культурный оплот края, — ручейками журчал между тем голос Беляева. — Город вам устроит торжественную встречу. Там есть образцовая агрономическая школа, ее директор мой большой друг, он вам во всем поможет и будет руководить вашими первыми шагами. В этой же школе вы получите прекрасное и бесплатное помещение, где будете жить, пока не ознакомитесь с районом и не выберете подходящего для вашей колонии участка. Верьте мне, господа, вам там будет отлично! Через два-три года все вы станете богатыми людьми, а я буду продолжать заселение этого края русскими и посылать к вам только отборную публику, а не такую рвань, которая в корне погубила колонизацию возле Энкарнасиона...

Все слушали генерала развесив уши и на разочарованные и хмурые лица постепенно возвращалось выражение безмятежного спокойствия.

Тем временем наш пароход вошел в асунсионский порт и начал пришвартовываться к пристани, которая, благодаря обмелению реки, казалась нелепо высокой, как бы взгромоздившейся на ходули обросших зеленью свай.

В СТОЛИЦЕ ПАРАГВАЯ

До отплытия парохода на Концепсион у нас оставалось часов семь времени и публика предполагала отправиться в город, чтобы в его лице надолго простить-

ся с цивилизованным миром. Но в Асунсион нас не пустили, что Беляев объяснил какими-то новыми установлениями правительства. Позже мы узнали, что правительство тут было совершенно ни при чем и что генерал сам распорядился не выпускать нас из порта, опасаясь того, что получив от русских старожилов более объективную информацию о концепсионском районе, многие откажутся туда следовать. По местным законам, каждый из нас имел полное право остаться в Асунсионе и ни в какие тартарары не ехать, но это обстоятельство генерал Беляев и все его помощники от нас скрывали особо тщательно.

Керманова, в связи с нашими делами, генерал повел в какое-то министерство, а мне и еще двоим все же „достал“ разрешение на выход в город, т.е. просто приказал страже нас пропустить, приставив к нам одного из сопровождавших его офицеров. Последний несколько часов водил нас по столице и любезно показывал все ее немногочисленные достопримечательности, старательно избегая таких мест, где мы могли бы повстречаться с кем-либо из русских.

Говорят, что за истекшие сорок лет Асунсион значительно благоустроился и обратился в приличный город, но тогда он поразил нас своей запущенностью и неуютностью. Раскаленные зноем каменные мостовые, неприглядные одноэтажные дома, из которых, может быть, один на десять не нуждался в солидном ремонте, пыльные, выгоревшие скверики, более чем скромные магазины и рестораны, из коих только два или три можно было назвать приличными, да четыре кинематографа полусарайного типа — таков был в те годы основной контур парагвайской столицы. Более отрадно выглядели только две загородные улицы, „авеницы“ Испания и Колумбия, где среди обильной зелени ютились иностранные посольства и резиденции местной знати.

В самом центре, на берегу реки, окруженный облупленными домишками, высился президентский дворец — желтое двухэтажное здание с колоннадой, в мечтах о ремонте задумчиво глядевшее на рейд. Перед ним покачивались на якорях десятка два барж, груженных дровами, углем, апельсинами, да и просто пус-

тых, украшенных только вывешенными для просушки бельем.

В городе не было ни одной асфальтированной улицы и центральная его часть, занимавшая кварталов пятнадцать по берегу реки, да столько же вглубину, была вымощена горбатыми булыжниками, величиной с человеческую голову. По ним, раскачиваясь и подпрыгивая, тряслись старенькие, в большинстве случаев, автомобили, с грохотом проезжали конные ломовики, да изредка проносился до отказа набитый публикой „автобус“. Я взял это слово в кавычки потому, что автобусами в Асунсионе служили военные грузовики-трехтонки, отбитые у боливийцев. Над ними были натянуты полотняные тенты, вдоль бортов поставлены скамейки, а сзади приделана лестничка для входа. Красовалась надпись: „Для 18-и пассажиров“, но ехало их обычно втрое больше, до предела набиваясь внутрь, сидя на радиаторе, на кабинке шофера и целыми гроздьями повисая снаружи. К счастью, парагвайцы народ чрезвычайно опрятный и самый последний бедняк, зачастую не имеющий денег даже на мыло (в этом случае его заменяет кусок кирпича), всегда тщательно следит за чистотой своего тела и одежды. И потому, внедряясь при сорокаградусной жаре в человеческое месиво такого автобуса, вы не чувствуете запахов, присущих толпе. Не слышно также никакого галдежа, парагвайцы говорят тихо, особенно в общественных местах и никогда не унижаются до крикливости.

Кроме этих автобусов, в Асунсионе ходило четыре номера трамваев. Один из них шел куда-то за город, мимо кладбища — к нему существовала черная прицепа-катафалк, которую можно было нанять для похорон „по первому разряду“. Гроб с покойником ставили внутрь на специальную подставку, позади нее были скамейки, на которые усаживались провожающие, и трамвай, весело позванивания на перекрестках, мчал усопшего к месту последнего упокоения.

Кварталах в десяти от президентского дворца уже начинали попадаться немощные улицы, обильно покрытые ямами и буграми. Еще немного дальше от центра о наличии и направлении улицы иногда приходилось догадываться только по расположению обрам-

лявших ее домов и лачуг. Местами здесь и в сухую погоду не может проехать даже ко всему привычный парагвайский автомобиль.

Во время сильных ливней, которые в Асунсионе не редкость, улицы становятся непроходимыми. По многим из них мчатся бурные потоки глубиной до метра, площади превращаются в озера. Движение в городе почти полностью останавливается, о пешем хождении нечего и думать: в те годы бывали случаи, когда на улицах люди тонули.

Канализации и водопровода тут не было. В наиболее благоустроенных домах имелись колодцы, но подпочвенная вода находится на большой глубине и потому в большинстве дворов устроены бетонные цистерны для сбора дождевой воды, а питьевую тогда покупали у водовозов, раза три в день проезжавших по улицам.

Архитектурный облик Ансусиона убийственно провинциален. Многоэтажных домов в мое время там не было, двухэтажные встречались только в центральных кварталах, а нормальный, почти стандартный тип дома — одноэтажный, поражающий своей неуютностью, как внутри, так и снаружи: здание длинной кишкой вытянуто в глубину двора и в нем от общего, открытого во всю длину навеса или балкона, отделяются, как стойла, мрачные и зачастую лишенные окон комнаты. Полы всюду каменные (деревянные съели бы муравьи), потолков нет вообще и прямо над головой, обычно на изрядной высоте, видны деревянные стропила с уложенными на них черепицами. В более приличных домах вместо потолков на соответствующей высоте натягивается холстина, снизу выбеленная известью.

Все оконные проемы снаружи защищены толстыми железными решетками, но в рамах почти нигде не видно стекол — очевидно, они считаются здесь излишней роскошью. И, по-моему, совершенно напрасно: в зимнее полугодие ночи тут довольно холодные, печей в домах, конечно, нет, и без оконных стекол приходится изрядно мерзнуть. Летом, наоборот, над городом висит одуряющая, беспросветная жара, в домах все открыто настежь и жизнь возможна только на сквозняке. Последний наматает в комнаты пыль и су-

хие листья, в дом забираются всевозможные насекомые и ищущие прохлады жабы, на кухне хозяйничают муравьи: человек постепенно свыкается с этой полушалашной жизнью и у него исчезает желание устроиться удобней и уютней. Летом, от одиннадцати до четырех часов дня — время самой отчаянной жары — магазины и учреждения закрыты, работы всюду прекращаются и публика погружается в спячку (так называемую сиесту). На улицах в эти часы не видно ни души и город кажется вымершим. К вечеру он оживает, незатейливые кафе наполняются публикой, а домоседы вытаскивают на улицу скамейки и стулья, а то и просто усаживаются на тротуаре, свесив ноги в канаву и подставляя облаченные в пижаму тела под еле ощутимое веяние тянущего вдоль улицы ветерка.

В Асунсионе тогда проживало сотни три заброшенных сюда судьбою русских. Большинство из них постепенно устраивалось офицерами в армию или чиновниками в различные министерства. В местном университете было человек двенадцать русских профессоров. Парагвайцы относились в нашему брату очень хорошо и охотно принимали на службу, причем многим офицерам давали чины более высокие, чем те, которые они имели в русской армии, и никогда не ниже. Кроме Беляева, чин генерал-лейтенанта имел у них и Н.Ф.Эрн (оба на русской службе были генерал-майорами), позже произвели в генералы и некоторых подковников.

Беляев и Эрн находились в смертельной вражде и соответственно этому вся русская колония Асунсиона была разделена на два непримиримых лагеря. Это обстоятельство усугубляло монотонную скуку жизни, в которой главным и почти единственным развлечением служили всевозможные пьянки — большие и малые, семейные и холостые, мирные и скандальные, организованные и экспромтные... Впрочем, со всем этим мы детально ознакомились уже значительно позже, когда смогли выбраться из дебрей, в которые нас теперь везли.

Когда мы возвратились в порт, уже смеркалось. К этому времени группа погрузила весь наш трюмный и ручной багаж на небольшой колесный пароход „Сан-Хосе“, на котором нам предстояло еще трое суток плыть вверх по реке Парагваю.

По величине и удобствам этот пароход не шел ни в какое сравнение с предыдущим, но и отношение к нам тут было совершенно иное. Ехали мы все по третьему классу (надо сказать, что второго на здешних пароходах вообще не существует), но капитан без всяких просьб с нашей стороны и без какой-либо доплаты всем семейным предоставил пустующие каюты первого класса, выходявшие на чистую, верхнюю палубу, а холостым разрешил расположиться на этой же палубе и в столовой первого класса, где имелся скромный, но чрезвычайно дешевый буфет.

Эту любезность капитана мы оценили в полной мере, когда ознакомились с условиями путешествия в третьем классе. Никаких кают и даже трюмов там не полагалось: на нижней палубе, невероятно грязной и сплошь заваленной дровами, клетками, ящиками и мясными тушами, пассажиры — крестьяне и солдаты — ютились кто где горазд. К тому же тропическая жара тут усугублялась непосредственным соседством с паровой кочегаркой.

Когда мы отшвартовались, было уже совсем темно и вскоре последние огни Асунсиона скрылись за поворотом реки. Устроившись в каюте и облачившись в пижаму, я вышел на палубу покурить. Была нежаркая лунная ночь, вокруг стояла первозданная тишина, нигде не виднелось ни огонька и пароход скользил так близко от одетого девственным лесом берега, что временами казалось — на него можно перепрыгнуть.

На рассвете всех жестоко искушали москиты. Эти крошечные насекомые, почти невидимые простым глазом, кусаются так, что по сравнению с ними самые свирепые комары кажутся невинными мотыльками. К счастью, появляются они только на вечерней и утренней заре, и то не всегда. Их укусы вызывают опухоль и нестерпимо чешутся в течение несколько дней. На-

ших дам они первое время — пока не выработался известный иммунитет — доводили до совершенно болезненного состояния.

Весь этот день, да и следующие, до самого Концепсиона, наш пароходик шел по пустынной реке, меж покрытых тропическим лесом берегов. В верхушках деревьев небольшими стайками резвились проворные обезьяны, изредка из зарослей поднимались длиннохвостые красно-синие попугаи, да на каждой удобной отмели, как загарающие на солнце курортники, блаженно нежились крокодилы. Можно было бы подумать, что мы попали в совершенно необитаемый мир, если бы кое-когда не встречалась груженная бревнами баржа, да раза три в день на правом берегу не показывалась деревушка, состоящая из десятка крытых соломою хибарок и навесов. В этих случаях „Сан-Хосе“ стопорил машину, с берега подходила лодка, принимала почту, а иногда и кого-нибудь из пассажиров.

Только один раз за всю дорогу пароход наш причалил к самому берегу, возле села примерно в сотню дворов. Тут мы накупили бананов и апельсинов, а двое, имевшие удочки, за каких-нибудь десять минут наловили полное ведро довольно крупной, серебристой рыбы, буквально кишевшей у сходней и оказавшейся очень вкусной — ее нам с полной готовностью изжарил пароходный кок.

ГЕНЕРАЛ БЕЛЯЕВ

На второй день пути пошедший с самого утра дождь загнал всех в столовую. Облепив усевшегося на диване генерала Беляева, публика слушала его рассказы и задавала множество животрепещущих вопросов. Разговор почти сразу коснулся событий, происходивших в это время в Центральном Чако, где проходила чисто теоретическая граница между Парагваем и Боливией. Эта безводная и пустынная область никого особенно не интересовала, пока американцы не обнаружили там месторождения нефти. Теперь обе страны предъявили на нее свои права и, подогреваемые двумя крупнейшими нефтяными трестами (один из которых

рассчитывал получить концессии от Парагвая, а другой — от Боливии), вступили в сильно затянувшуюся войну. Она кончилась победой Парагвая примерно через год после нашего приезда.

Стоит отметить, что в боливийскую армию вступило много немецких офицеров, а в парагвайскую — русских. Вклад их в дело Парагвая был очень значителен. Я попытался составить полный список русских участников этой войны и мне удалось собрать 86 фамилий, но, думаю, что это не все. Среди них двое или трое были начальниками крупных штабов, один командовал дивизией, двенадцать — полками, а остальные — батальонами, ротами и батареями. Семеро на этой войне были убиты, многие ранены, некоторые прославились своими подвигами, именем одного из них, капитана Серебрякова, был даже назван построенный в Чако форт.

Вскоре после окончания войны, я увидел в асунсионском военном музее оригинальное „свидетельство“: надпись, сделанную химическим карандашом на доске, которую оставили в своем окопе отступившие боливийцы. В переводе она гласила: „Если бы не проклятые русские офицеры, мы бы ваше босоное войско давно загнали за реку Парагвай“. Надо добавить, что эту доску очень скоро из музея убрали, но все же из русских видели ее и многие другие.

— А что, ваше превосходительство, далеко ли от Асунсиона проходит сейчас линия фронта? — спросил кто-то.

— Примерно за полторы тысячи километров.

— Как же в такую даль, без дорог и без рек, доставляют снабжение?

— Везут на грузовиках через все Чако. Кое-какие дороги там теперь попортили, но все же транспорт очень труден. Тяжело раненых, например, вывозят на аэропланах, иначе им в тамошних условиях смерть. Надо сказать, что в эту страну до войны почти не ступала нога белого человека, и до моего появления парагвайцы знали о своем Чако не больше, чем о пустыне Сахаре. По поручению правительства, я совершил туда ряд экспедиций и обследовал все, до самых неприступных мест включительно. Сколько раз я там погибал от

жажды, сколь раз терял своих спутников, но задачу все же выполнил: исследовал и описал страну, а главное, составил карты, по которым теперь и ведется война. Без них парагвайской армии пришлось бы действовать вслепую и на победу не было бы никакой надежды. Когда я возвратился в Асунсион, меня встретили как национального героя, забрасывали цветами, носили на руках! Мои экспедиции и подвиги некоторых наших офицеров на фронте подняли здесь русское имя на недосыгаемую высоту. Фамилия, оканчивающаяся на „ов“ или „ев“ в Парагвае звучит как титул. Но, конечно, моя слава вызвала зависть и кое-кому стала поперек горла. В частности Эрн, которого я же вытащил из югославской нищеты и выхлопотал ему здесь генеральский чин, повел против меня подлую интригу и сейчас мое положение пошатнулось, я почти не у дел. Но очень скоро это изменится и правда выйдет наружу! Тогда и в моей, и в вашей судьбе наступят громадные перемены, это я могу сказать вам с полной уверенностью. Есть вещи, о которых я сейчас не могу говорить, но верьте, не за горами тот день, когда я буду здесь почти всемогущим!

Тут следует сделать небольшое отступление, чтобы согласовать этот рассказ генерала с действительностью, о которой мы позже узнали из других источников. Беляев и в самом деле несколько раз побывал в Чако и все поставленные ему задачи как будто блестяще выполнил. Закончив свои исследования, он сделал в правящих сферах обстоятельный доклад и не пожалел красок для описания тех невзгод и опасностей, которым на каждом шагу подвергался в Чако. По его словам, из последней экспедиции он лишь чудом возвратился живым, а его спутник — лейтенант парагвайской службы Оранжереев, погиб. Все это еще разукрасили газеты и Беляев действительно стал знаменитостью и героем дня, его даже сделали чем-то вроде помощника военного министра.

Но несколько месяцев спустя вернулся из Чако „погибший“ лейтенант Оранжереев и стал гоняться за Беляевым, грозя его пристрелить. По его словам, генерал бросил его в лесу умирающим от тифа и своим случайным спасением он обязан только набревшим на

него индейцам. Оранжереева произвели в капитаны и скандал кое-как замяли, но репутация Беляева пошатнулась. А когда началась война и пустили в дело составленные им карты, оказались, что они с местностью имеют довольно мало общего, ибо генерал занимался в Чако не столько топографическими съемками, сколько изучением индейского языка и фольклора, а карты составлял, главным образом, по сведениям, полученным от тех же индейцев. Беляеву деликатно предложили подать в отставку, но с сохранением генеральской формы и жалования. Однако в Парагвае часто бывали так называемые „пронунсиамientos“, т.е. своеобразные дворцовые перевороты: очевидно, генерал рассчитывал при одном из них восстановить свое положение¹, а в ожидании этого счастливого события занялся колонизацией.

В этом ему в какой-то мере помогало, вернее, шло навстречу правительство, ибо малонаселенному и покрытому лесами Парагваю нужны были люди, в особенности земледельцы. Но хотя Беляев и именовал себя „директором колонизации“, в сущности на этом поприще он действовал как частное лицо. Это стало совершенно очевидным, когда появилось еще несколько таких же колонизаторов, которые вступили в жесткую конкуренцию с организацией генерала Беляева, и для привезенных ими колонистов получили от правительства то же самое, что получал и он для своих, т.е. фактически только землю, ибо все остальное витало в области посулов и обещаний, которые никогда не исполнялись. Кто в этом виноват, и что было действительно обещано правительством, а что от его имени самими колонизаторами, для нас навсегда осталось тайной.

Не подлежит сомнению, что все эти предприниматели, включая, конечно, и Беляева, на колонизации что-то и как-то зарабатывали, хотя дружно отрицали это, утверждая, что ими руководит вполне бескорыстная любовь к ближнему, т.е. к нашему брату, русско-

¹Эта надежда Беляева не оправдалась, так как вскоре власть надолго перешла в руки именно тех генералов, которые воевали в Чако по составленным им картам.

му эмигранту, который только в лесах Парагвая может обрести свое счастье.

— Но в Чако все же есть какое-то население? — спросил я. — Почему, собственно, его называют необитаемым?

— Ну, тут, конечно, подразумевается отсутствие оседлого населения, — ответил Беляев. — Его там действительно нет, если не считать менонитских колоний, образовавшихся несколько лет тому назад и сосредоточенных фактически на пятачке. Но в лесах живет довольно много кочевых индейцев, которые до моего появления не имели никакого контакта с цивилизованным миром. И это не удивительно, ибо их тут и за людей не считали — „индио“ это в Парагвае одно из самых оскорбительных ругательств. Обидеть индейца, даже пристрелить его, — это тут, в глухих углах еще и сейчас считается чуть ли не богоугодным делом, и власти на такие явления смотрят сквозь пальцы. А вместе с тем, нет в мире народа, равного индейцам по благородству, честности и душевной красоте! Есть у них и своя оригинальная культура, например замечательные сказания-поэмы и красивейшие легенды, в которые они облекли свою древнюю историю. Я изучил их язык и многое записал, даже в стихотворной форме перевел на русский большую поэму „Амормелата“, а сейчас работаю над составлением их словаря и грамматики. Не хвастаясь скажу, что я не только изучил и приручил индейцев Чако, но и построил первый мостик взаимопонимания, связи и нормальных отношений между ними и парагвайцами. Индейцы — это мои лучшие друзья, и покорила я их лаской, как больших детей. Они меня настолько любят, что нередко проделывают тысячеверстный путь пешком, чтобы со мной повидаться. И в такие дни мой двор в Асунсионе превращается в настоящий индейский табор.

— А к какому племени принадлежат эти индейцы? — спросил кто-то из слушателей.

— Чимакоки. Некогда это было многочисленное и воинственное племя, родственное гуаранийскому. Сейчас, конечно, их осталось сравнительно немного. Делятся они на несколько кланов, каждый из которых

носит название какого-нибудь животного. В одном из них меня даже провозгласили кациком.

— В каком же именно, ваше превосходительство? — спросил я.

— В клане Тигров¹, — с достоинством ответил генерал.

На многих лицах при этом появились сдержанно-иронические улыбки: маленький, щупный и благодушный Беляев был похож на тигра как гвоздь на панихиду. Дома жена его ласково называла Заинькой, и это подходило к нему гораздо больше.

Тут тоже следует сделать некоторые пояснения. Увлечение Беляева индейцами в Асунсионе всем было хорошо известно и служило предметом всевозможных острот и насмешек, впрочем, почти всегда добродушных. Довольно многочисленные группы чимакоков действительно, 2—3 раза в год приходили в столицу и располагались на генеральском дворе. Но, по общему мнению, влекла их сюда не столько любовь к бледнолицому брату Беляеву, сколько желание разжиться некоторыми полезными вещами. Являлись они из Чако в настолько декольтированном виде, что полиция их в город не впускала, и темной ночью они тайком пробирались к генералу в сад, который был окружен высоким забором. Трех или четверых он снабжал своими старыми штанами или пижамами, таким образом они получали возможность выйти на улицу и, ходя по домам, выпросить какие-нибудь обноски для всех остальных. После этого индейцы небольшими группами обходили город и с благодарностью брали любой хлам, который им давали: старое тряпье, дырявые соломенные шляпы, консервные банки, бутылки и т.п.

Глядя на этих несчастных людей в дни нашего просвещенного гуманизма и всяких возвышенных деклараций, проделывающих пешком тысячи километров ради подобных приобретений, легко можно было себе представить степень их бесправия и ту ужасающую нужду, в которой они жили.

¹В Южной Америке все называют ягуара тигром, а пуму — львом, очевидно, такое переименование льстит национальному самолюбию.

И многое следует простить Беляеву за то, что он первый из „больших начальников“ отнесся к ним по-человечески и действительно сделал все, что было в его силах, чтобы им помочь и облегчить их участь.

Какими чувствами платили ему индейцы, наглядно показало дальнейшее: когда Беляев умер, горевало и оплакивало его все племя. Вожди чимакоков явились в Асунсион и выпросили его останки, которые с величайшими почестями перевезли к себе. Позже некоторые русские видели его могилу в Чако, она охраняется как святыня и служит предметом поклонения и паломничества.

Воистину невообразимой может оказаться человеческая судьба. О русском генерале Беляеве как таковом через два-три десятка лет исчезнет всякая память. Но как индейский кацик — друг и благодетель этого народа — он не будет забыт, пока на земле останется хоть один чимакок. Рассказы о нем, обращаясь в легенды, будут передаваться из поколения в поколение и может быть настанет такой день, когда в Чако ему воздвигнут памятник как индейскому национальному герою.

ГОРОД КОНЦЕПСИОН

Утром двадцатого октября „Сан-Хосе“ прибыл в Концепсион и наше сорокадневное путешествие закончилось.

Никакой пристани тут не было, пароход просто приблизился к берегу на расстояние, позволившее перебросить на землю сходни. Отсюда вела вверх довольно длинная и крутая лестница, поднявшись по которой мы очутились на пыльной таможенной площади.

Здесь нас ожидала большая группа горожан, среди которых виднелось несколько офицеров и много празднично одетых дам. Как оказалось, это были все сливки местного общества, во главе с губернатором. Встреча была в высшей степени сердечной, и вряд ли кто-либо мог оценить это лучше, чем мы, всюду привыкшие наталкиваться на явное или плохо скрытое недоброжелательство. Было ясно, что тут в нас видят не конкурен-

тов в борьбе за существование, приехавших отбивать у кого-то хлеб, а новых сограждан, пополняющих собой скудные фонды местных культурных сил и вносящих своим приездом свежую струю в монотонную жизнь этого провинциального захолустья.

После общих знакомств и рукопожатий, губернатор и некоторые другие должностные лица произнесли приветственные речи, которые нам перевел генерал Беляев. Со своей стороны Керманов благодарил всех за внимание и радушный прием, обещая, от имени группы, оправдать общее доверие и симпатию. Затем я сделал несколько фотографий и на этом официальная часть закончилась. Впрочем, город хотел сегодня же приветствовать нас торжественным обедом, но, по предложению Беляева, это решили отложить на будущее, так как нам еще предстоял хлопотный переезд со всем нашим скарбом, в агрономическую школу, находящуюся в десяти километрах от Концепсиона.

Хотя тут была еще ранняя весна, солнце пекло вполне по-тропически и пока мы выгрузили с парохода и втащили наверх все свои ящики и тюки, ни на ком не осталось сухой нитки. В ожидании автомобилей, которые обещал прислать директор школы, мы успели осмотреть город, на что отнюдь не потребовалось много времени.

Не могу сказать, какое место Концепсион занимает в иерархии парагвайских городов, ибо колонизаторы всегда называли „вторым по величине“ (после столицы) именно тот город, в район которого везли очередную партию переселенцев. Могу только констатировать, что в мое время он насчитывал не более 15.000 жителей и по внешнему облику ему было далеко до русского уездного городка средней руки. Мостовых здесь не существовало и все улицы, включая главную, были покрыты толстым слоем кирпично-красной пыли (такова тут почва), которая после дождя превращалась в наредкость вязкую, труднопроходимую грязь. Автомобиль, да и то больше грузовой, на этих улицах показывался редко, а главным средством передвижения служила верховая лошадь, которая тут есть почти у каждого. Соответственно этому, все мужчины, принадлежавшие к зажиточному классу, ходили в широчен-

ных штанах „бамбачо“ и в высоких сапогах со шпорами, а беднота — в пижамах или в голубовато-серой солдатской паре и при этом всегда босиком. Если такому кавалеру предстояло ехать куда-нибудь верхом, на голые пятки он надевал шпоры рыцарского образца, с огромным репейком-звездочкой — иных тут не признают. У каждого мужчины, до последнего бедняка включительно, на поясе непременно висел крупнокалиберный револьвер. Выйти без него из дому тут считалось столь же неприличным, как в дохиппийском Лондоне появиться на улице без галстука.

Бросалось в глаза обилие военных. В мирное время в Концепсионе стояли пехотный полк и артиллерийская бригада, а сейчас — авиационный парк и какие-то запасные части. Кроме того, два местных госпиталя были переполнены ранеными.

В культурном активе города числились две небольшие фабрики, вальцовая мельница, почта, отделение агрономического банка, прогимназия, две-три начальных школы, аптека, два врача, ветеринар, дантист, нотариус и мировой судья. Имелось десятка полтора магазинов, к которым более подходил термин „лавка“. Выбор товаров был в них весьма невелик и если встречалась необходимость в приобретении какой-либо вещи, не укладывающейся в рамки простейших обиходных потребностей, ее надо было выписывать из Асунсиона и ждать месяцами.

Из трех или четырех городских ресторанов и отелей, только один с натяжкой можно было назвать приличным. Содержала его давно переселившаяся сюда француженка и если он не блистал комфортом, то во всяком случае был безукаризненно чист и кормили в нем великолепно. Цены в этом отеле, по сравнению с европейскими, были неправдоподобно дешевы, но все же настолько высоки для Парагвая, что останавливались здесь только богатые помещики и другая избранная публика. Тут можно было получить комнату с удобной постелью, защищенной от комаров кисейным пологом, хорошо пообедать, выпить чего-нибудь холодного, а главное, в любой момент принять душ. Эти обстоятельства, с точки зрения европейца не заслуживающие упоминания, здесь играли великую роль. И по-

зже, находясь в колонии, я просто мечтал о том дне, когда случится поехать по делам в Концепсион и хоть на сутки воспользоваться этими благами.

В центре города дома освещались электричеством, но не было ни одного кинематографа и единственными развлечениями жителей служили редкие любительские концерты да семейные вечеринки с танцами, самым популярным из которых, как это ни удивительно, была полька, особенно в простонародье, которое с одинаковым успехом пляшет ее под любую музыку. Однажды, на импровизированной вечеринке у нас в колонии, я решил на опыте выяснить пределы приспособляемости парагвайского танцора к музыке и ставил на граммофон самые разнообразные пластинки. Гости, лишь слегка изменяя темп, откалывали польку и под вальс, и под марш, и под фокстрот, а когда я, желая их доконать, поставил молитву „Аве Мария“ Гуно, то без особых затруднений станцевали и под нее.

Наконец появились три стареньких грузовика, на которые поместился весь наш багаж и большая часть холостой публики. Для дам и детей кто-то из горожан предоставил машину получше, а остальных, в том числе и меня, посадили на военный грузовичок, которым генерал разжился в местной комендатуре.

Дорога от Концепсиона до агрономической школы по здешним понятиям считалась хорошей. Действительно, в районе нашей колонии они были несравненно хуже и в одном из своих первых писем в Европу, я дал им такое определение: „Парагвайская дорога, это та полоса местности, по которой труднее всего проехать“. Но с непривычки и этот сравнительно пустыковский путь был для нас весьма богат впечатлениями. Едва выехав из города, наш автомобиль запрыгал по кочкам и ямам, вихляясь из стороны в сторону и порою принимая такой крен, что казалось чудом — почему он не переворачивается. Мы катались в кузове как орехи, бодая друг друга, хватаясь за что попало и тщетно сясь защитить физиономии от хлеставших с боков ветвей.

Было не до наблюдений, но все же мы заметили, что вокруг расстилается до предела выжженная солнцем, покрытая кочками равнина, с торчащими кое-где

пыльными кактусами, чахлыми пальмами и небольшими рошицами корявых, низкорослых деревьев. Местами этот удручающий пейзаж дополняли две-три тощие коровенки или стоящая под деревом кляча.

— Вы не смотрите, что сейчас все это так неприглядно выглядит, — успокоил генерал, заметивший общее впечатление. — Вы попали сюда после жесточайшей двухлетней засухи, а вот пойдут дожди и сразу все станет иным.

Так оно и оказалось, но все что мы теперь видели, да еще в связи с откровением о случающихся тут двухлетних засухах, никак не располагало к оптимизму.

Через час перед нами показалось одиноко стоявшее на пригорке здание. Передняя часть его была выстроена из кирпича и имела вид довольно приличного дома, а задняя представляла собой обширный дощатый барак, со всех сторон окруженный широким навесом. За бугром начинался густой, низкорослый лес, подковой обступивший место, расчищенное под школьные плантации, которые выглядели довольно плачевно.

Со стороны кампы владения школы были огорожены провололочной изгородью. Автомобиль въехал в ворота, и через минуту мы, мокрые от пота и покрытые толстым слоем пыли, высадились на широком дворе и принялись знакомиться со встретившими нас людьми и с обстановкой.

Занятия в школе сейчас не велись и она фактически пустовала, так как почти весь ее персонал и студенты находились на фронте. Налицо были только директор, — средних лет инженер-агроном — и три преподавателя, один совсем старик, а два других — молодые лейтенанты, возвратившиеся с войны вследствие полученных ранений. Все они оказались милейшими людьми, особенно лейтенанты, которые быстро с нами сдружились, почти все время проводили в нашей компании и охотно предоставляли нам своих верховых лошадей, пока мы не обзавелись собственными.

Что касается студентов, то их было человек пятнадцать, в своем большинстве тоже раненых или по иным причинам отпущенных из действующей армии. К нашему приезду их всех выселили под навес по ле-

вую сторону здания, а нам предоставили всю внутренность барака и навес с правой стороны.

За исключением двух больших столов и нескольких скамеек, стоявших на балконе, никакой мебели не было. Пол барака был выложен кирпичом, а стены сделаны из какого-то красно-коричневого дерева такой невероятной твердости, что при попытке вбить в него гвоздь он гнулся как оловянный, не оставляя на доске даже царапины.

Занавесью, сделанной из одеял, барак разгородили на холостую и семейную половины, а спать вначале пришлось на багажных ящиках или просто на самодельных тюфяках, набитых травой и положенных на пол. Но уже на следующий день нас посетил приехавший из города католический священник, который, увидя это, немедленно прислал нам штук двадцать железных кроватей, взятых из какого-то монастыря. Ими снабдили семейных и пожилых, а остальные вскоре обзавелись парагвайскими койками, плетеными из сыромятных ремней. Впрочем большинство сельского населения здесь предпочитает спать в гамаках.

На европейскую оценку это наше временное жилище было более чем примитивно и убого. Но по сравнению с теми „хоромами“, в которых нам суждено было жить потом, оно являлось верхом роскоши и комфорта.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Выгрузив свой багаж и сложив его под навесом, мы прежде всего устремились к колодцу, который заметили на другом конце двора. Всех томила жажда, не говоря уж о том, что каждому хотелось поскорее освежиться умыванием и привести себя в порядок. Заглянув в колодец, мы увидели, что он очень глубокий, но все же на дне приятно поблескивала вода.

Пока мой друг и однокашник Анатолий Флейшер опускал ведро, все посбрасывали рубахи, достали полотенца, мыло и приготовились к купанию.

— Что-то больно легко идет, — сообщил Флейшер, накручивая веревку на скрипучий ворот. — Впрочем, может быть у меня силы удвоились от парагвайского воздуха.

Через несколько секунд ведро показалось у края колодца. В нем было не больше литра мутной, красноватой воды.

— Дьявольщина! Не может быть! — посыпались восклицания. — Ты вероятно плохо утопил ведро. А ну, тащи еще раз!

Опыт был повторен с тем же печальным результатом. Дно колодца едва покрывала грязная, неприятно пахнувшая вода, в Европе такой не стала бы пить и лошадь. Не зная что делать, мы разразились руганью. В это время к нам подошел какой-то парагваец и с гордостью заявил:

— Прекрасная вода! Это лучший колодец в окрестности.

Мы думали, что человек шутит, но он приложился к ведру, с явным наслаждением напился и пошел своей дорогой. Скрепя сердце, мы последовали его примеру и принялись утолять жажду. Вода была противно теплая и сильно отдавала землей. Потом, вытаскивая каждый раз все меньше этой драгоценной влаги и экономя ее как бедуины в центре Сахары, кое-как смыли с себя дорожную пыль.

Надо сказать, что по утрам воды бывало больше и выглядела она чище. Но к полудню колодец иссякал и в нем едва можно было зачерпнуть ведром немного грязной жижи. Чтобы помочь беде, директор школы предоставил в наше распоряжение повозку с бочкой и пару волов, на которых мы стали привозить воду с кампы¹, из родника, находившегося километра за полтора от школы. Вода в нем разила болотом и имела неприятный привкус, как, впрочем, и всякая другая в этом районе, за исключением речной.

— Что, не нравится здешняя вода? — спросил генерал, подходя к колодцу. — Ничего, со временем привыкнете, она тут всюду такая. Чтобы отбить при-

¹Кампа — безлесная равнина, иногда поросшая редкими пальмами, кустами и кактусами. В переносном смысле — пастбище, поле.

вкус, добавляйте в нее лимонный сок, а еще лучшей пейте терере.

— А что это за штука? — спросил я.

— О, это замечательный напиток, который здешним индейцам был известен с глубокой древности. Он прекрасно утоляет жажду, благотворно действует на желудок, а главное — возбуждает энергию, что особенно важно в сильную жару, когда человеком овладевает апатия. Сейчас я вас угощу!

Подозвав солдата вестового, который его всюду сопровождал, Беляев на языке гуарани отдал ему какое-то распоряжение. Парагваец извлек из сумки небольшую, выдолбленную внутри и полированную снаружи тыквочку, из полотняного мешочка насыпал в нее чего-то похожего на махорку или на мелко искрошенное сено, долил колодезной водой, вставил внутрь металлическую трубочку с сетчатым наконечником и протянул это приспособление генералу. Последний высосал жидкость, снова налил в тыквочку воды и принялся угощать нас. Напиток был горьковат и поначалу никому не понравился. Но позже мы все к нему пристрастились, ибо он отбивал вкус отвратительной воды и в самом деле слегка подбадривал. Это был знаменитый парагвайский чай „мате“, который, следует отметить, не имеет с настоящим чаем ничего общего ни по вкусу, ни по природе¹, но содержит в себе алколоид, почти идентичный кофеину, чем и объясняется его бодрящее действие.

Пьют его решительно все, как здесь, так и в соседних странах, или в виде только что описанного „терере“, или заваривая горячей водой, но всегда по тому же способу. Трубочки для этой цели часто делаются из серебра и золота, а тыквочки художественно расписываются или инкрустируются, некоторые представляют собой подлинные произведения искусства и стоят больших денег.

В какой бы парагвайский дом вы не зашли, вам прежде всего предложат терере, причем все сосут поочередно из того же сосуда и через ту же трубочку. От-

¹Деревцо, из листьев которого изготавливается мате, родственно растущему у нас на Кавказе падубу.

казаться — значит кровно обидеть хозяев, и нам вначале стоило большого труда пересиливать свою брезгливость. Однако привыкли и ни с кем ничего плохого не случилось.

Вообще в парагвайской провинции весьма развито питье из одной посуды. Если вы зашли, например, в какой-нибудь деревенский кабачок и заказали себе стакан вина или местного рома — каньи, то считается очень плохим тоном выпить его, не пустив предварительно вкруговую, хотя бы вы никого их присутствующих не знали. Очень часто заказанный стаканчик кабатчик подает не вам, а прямо старшему по возрасту, который отхлебнет немного или просто пригубит и, поблагодарив вас, передаст стакан следующему. Обойдя всех, он доходит до заказчика и тогда можно его допить. После этого, если у кого-либо из участников круга есть деньги, он сейчас же закажет второй стакан и тоже пустит его вкруговую, но уже начиная с вас. В силу такой постановки дела, в редком из этих захолустных кабачков в мое время бывало больше одного стакана и одной рюмки, которыми и обслуживалась вся клиентура. Обычай этот в наших краях держался очень крепко, и не нарушая его мы в значительной степени расположили к себе соседей-парагвайцев.

Однако возвращаюсь к событиям дня. Время до темноты было посвящено разборке вещей и беглому осмотру ближайших окрестностей. Как я уже отметил, привлекательного в них было мало и настроение публики падало с каждой минутой. Думаю, что если бы в эти мгновения какой-либо чародей предложил вернуть желающих в Европу, большинство без колебаний воспользовалось бы его любезностью. Но все понимали, что возврата нам нет и что ни задним умом, ни проявлениями запоздалых эмоций положения не изменишь.

Вечером под навесом зажгли тускло горящий керосиновый фонарь, все расселись вокруг и начался обмен мнениями. Общий их фон был довольно мрачный. Одни неискренне бодрились и силились укрепить павших духом, другие старались отыскать в нашей аванюре комические стороны и натянуто остряли, третьи были откровенно подавлены и угрюмо молчали. Всем было ясно, что делать окончательные выводы еще не время,

но вместе с тем каждый понимал, что обступившая нас действительность очень далека от всего того, что обещала дутая реклама колонизаторов, которая создала у всех совершенно ложное представление и о Парагвае, и о том, что нас ожидает в новой жизни.

В разговорах время прошло до десяти часов вечера и пора было укладываться спать. Войдя в барак и осветив электрическим фонариком его темные недра, я в первый момент остолбенел: стены и пол были густо покрыты огромными, величиной в вершок, коричневыми тараканами, так называемыми „кукарача“. Эти омерзительные насекомые одинаково хорошо бегают и летают; их полчища, потревоженные светом, сразу пришли в бурное движение и беспорядочно заметались во все стороны.

Наши дамы в ужасе объявили, что спать в бараке не будут. Стали устраиваться под навесом, но тут их европейские нервы ожидало новое испытание: гоняясь за тараканами и не обращая на нас никакого внимания, по балкону запрыгали десятки жаб совершенно неправдоподобной величины. Впоследствии я из любопытства взвесил одну из них, она потянула больше килограмма.

Эти животные не только абсолютно безобидны, но и чрезвычайно полезны. В поисках прохлады, они любят забираться в жилища и быстро привыкают к месту. Днем неподвижно сидят по темным углам, причем в особенно жаркое время часто складываются стопками, по три-четыре штуки, взгромоздясь одна на другую, а с наступлением темноты выходят на добычу, пожирая несметное количество всевозможных насекомых, отравляющих людям существование, а зачастую и ядовитых. Когда мы к ним привыкли и научились ценить их услуги, каждый знал своих жаб чуть ли не „в лицо“ и всячески им покровительствовал. Но первое время наши жены их панически боялись, а мы безрассудно избивали.

Кстати замечу, что помимо этих гигантских жаб, в Парагвае нам пришлось видеть большое разнообразие их более мелких сородичей. Особенно хорошо мне запомнились крохотная, не более двух сантиметров, черная лягушка с красными крапинками и большая дре-

весная лягушка, величиной с европейскую жабу. Нормально она салатно-зеленого цвета, но если начинает злиться, на глазах меняет его в темно-зеленый, потом в синий, багрово-красный и фиолетовый.

Наконец самых нахальных жаб ликвидировали, дам успокоили, все кое-как умостились и потушили свет. Я со своим семейством расположился на багажных ящиках, у самого края навеса; генерал — прямо на траве раскинул над собой тюлевый москитник, наподобие шатра; остальные — кто где горазд.

Была темная, безлунная ночь. Над головою сияло звездами чужое, непривычное небо и почти в зените стояло созвездие Южного Креста, все же немного более похожее на крест, чем Большая Медведица северного полушария на медведя.

Прожигая своими фарами темноту, мимо проносились необычайно яркие светляки. Здешний светлячок это жук из семейства щелкунов, длиною более дюйма. Светятся у него два большие круглые пятна по бокам головы и притом настолько ярко, что, пролетая низко над землей, насекомое освещает ее перед собой по крайней мере на метр. При свете двух-трех таких жуков, посаженных в стакан, свободно можно читать, впрочем при подобных обстоятельствах они почти сразу гасят свои фонари.

Было довольно жарко, но комаров в эту пору года еще почти не было. Только днем клубились в тени стаи какой-то мелкой мошкиры, которая не кусалась, но назойливо лезла в глаза, рот и уши. Однако к ночи она исчезла и вскоре усталая группа спала мертвецким сном.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НОВОЙ ЖИЗНИ

Первой нашей заботой было наладить довольствие группы и организовать приготовление пищи способами, совершенно неизвестными европейским хозяйкам, т.е. применительно к костру, ибо никакого подобия кухни в школе не было. Но нужно сказать, что наши дамы оказались на высоте этого индейского положе-

ния: они быстро освоились с обстановкой и кормили нас вполне прилично.

Гораздо хуже обстояло дело с продуктами: на месте, кроме бананов и апельсинов, нельзя было достать ничего, а все остальное нужно было привозить из Концепсиона.

Поблизости от школы, на опушке леса ютилось несколько мелких крестьянских хозяйств, которые здесь называют чакрами. Наняв на одной из них параконную телегу, наш завхоз отправился в город, наладил там торговые связи и привез дня на три продуктов, а также закупил необходимый нам кухонно-костровый инвентарь. Уплаченные за него девятнадцать тысяч пезо по привычке перечислили на франки и умилились: всего около тысячи, совсем недорого. Слегка отвыкнув от франка, ту же сумму прикидывали на ее местный покупной потенциал и ужасались: за два железных котла, бак для воды, три сковородки и полдюжины ведер — девятнадцать тысяч! Да ведь это стоимость по крайней мере двадцати лошадей и коров!

Так как посуда в Парагвае не фабриковалась, она, как и все другие импортированные товары, стоила убийственно дорого по сравнению с предметами местного производства. Приведу некоторые сопоставления из области своих собственных покупок, сделанных в эти дни: за трехлитровый эмалированный чайник я заплатил 550 пезо, а за великолепное, тисненой кожи дамское седло — 500 пезо; за железное, оцинкованное ведро 400 пезо, а за высокие сапоги на заказ — 450 пезо; за самый примитивный керосиновый фонарь 300 пезо и столько же за большой чемодан свиной кожи; за алюминиевую кружку литровой вместимости 180 пезо, а за добротный шерстяной плащ-одеяло (так называемое „пончо“) — 120 пезо.

Своего первого рабочего коня мы несколько позже купили за 600 пезо; за прекрасную верховую кобылу для жены я заплатил 800, а невыезженные стоили здесь по 300—400 пезо. Но надо сказать, что по местной традиции на кобылу ни один мужчина не сядет, это допустимо только для женщин, и потому верховые кони ценятся значительно дороже. Я за своего (полукровного и очень рослого, что здесь редкость) заплатил

3.500 пезо, это был самый дорогой из купленных нами. За остальных платили от 1.000 до 2.000 и они были не плохи. В один из первых дней наш завхоз за 180 пезо (стоимость алюминиевой кружки или 40 американских центов) купил для пропитания группы большую свинью, причем продавец, в счет той же платы, сам ее заколол, разделал тушу, часть мяса перемолол и накопил нам колбас.

В нашем районе, ни в одном крестьянском хозяйстве, даже у людей по местным понятиям зажиточных, я никогда не видел таких вещей, как кастрюля, ведро, чайник или кружка: все это заменялось жестянками из-под консервов различной величины. И при таком соотношении цен это легко понять. Представим себе, что перед русским доколхозным мужиком жизнь выдвинула проблему: приобрести кастрюлю или за те же деньги прикупить к хозяйству лошадь либо корову. Нет никакого сомнения в том, что он нашел бы возможность обойтись без кастрюли.

В Парагвае того времени увидеть где-либо выброшенную бутылку или банку от консервов было совершенно немыслимо, ибо и то, и другое для рядового парагвайца представляло собой известную ценность и даже не столь уж малую (литр превосходной каньи, например, стоил тогда 20 пезо, а в залог за бутылку брали 25). И попав впоследствии в Аргентину, я первое время никак не мог привыкнуть к тому, что эти „ценности“ валялись повсюду, ни в одном прохожем не вызывая желания их подобрать.

Конечно, все купленное для нашего кухонного хозяйства было совершенно необходимо и никто не виноват в том, что это стоило дорого. Понятно было и то, что живя в школе мы вынуждены были питаться дорогими продуктами, о которых позже не могли и мечтать. Но вот что касается способа доставки этих продуктов, то он принадлежал к категории тех хозяйственных недомыслий, благодаря которым мы вскоре остались без денег: их почти полтора месяца привозили на наемных лошадях, что обошлось группе дороже чем телега и четыре упряжных лошади, которых наши хозяйственники догадались купить только после этого.

Но так или иначе наша „кухня“ начала работать уже на третий день по приезде. Ее расположили под ближайшими деревьями, шагах в двадцати от барака, а для приготовления пищи назначались по очереди две дамы и в помощь им два „кухонных мужика“, на обязанности которых лежали все тяжелые работы.

Жив еще в памяти мой первый дебют в этой трагикомической роли. Мы выступали вместе с Флейшером. Разведя утром костры, наполнив кухонный бак водой из колодца и заготовив запас дров на целый день, мы наивно полагали, что после обеда нам нечего будет делать и собирались пройтись с ружьями по кампе, где можно было настрелять куропаток. Но едва мы приступили к сборам, одна из дежурных дам сообщила, что на кухне нет воды для мытья посуды. Отправившись с ведрами к колодцу, мы убедились, что он по обыкновению пуст. Оставалось одно: запрячь волов и ехать за водой к роднику.

На наше счастье волы оказались не на пастбище, а дома. Они были привязаны к дереву рядом с водовозной бочкой, как их запрягать ни я, ни Флейшер не имели представления. В Парагвае, между прочим, ярма не знают: вместо него к рогам волов особым образом привязывается крепкий деревянный брус, к которому, в свою очередь, прикрепляется ремнями дышло повозки. Видя нашу полную некомпетентность в этой механике, кто-то из людей более опытных запряг нам волов.

Легкомысленно решив, что самое трудное сделано и теперь остается нечто вроде увеселительной прогулки, мы пригласили с собой обеих дежурных дам, взяли ведра, уселись на телегу и попробовали пустить волов в ход. Но к нашему удивлению, животные неподвижно стояли на месте, несмотря на все наши окрики и понукания. Дамы начали ехидно посмеиваться.

— Видно эти четвероногие индейцы не понимают деликатного обращения, — сказал наконец Флейшер. — Попробуем метод физического воздействия.

Мы слезли с повозки, выломали себе по длинной хворостине и заняли прежние позиции. Я сидел справа и едва хлестнул по боку своего вола, упряжка сорвалась с места и почти под прямым углом к дороге сло-

мя голову кинулась вправо. Соскочив на землю и лупя волов уже прямо по мордам, мы с большим трудом выгнали их обратно на дорогу, где они тотчас обрели прежнее спокойствие и неподвижность. Полагая, что правый вол не в меру самолюбив, мы теперь хлестнули левого. Эффект получился прежний, с той только разницей, что на этот раз пара рванулась влево, ломя напропалую через кусты.

Дамы помирали со смеху, а мы с Флейшером, проклиная свою торреадорскую участь, топтались вокруг запыхавшихся быков, не понимая — почему они не хотят идти вперед, а как крабы, двигаются только в стороны?

Наконец подошел какой-то мальчишка-парагваец и объяснил: если бить здешних волов по боку, это служит им указанием, что надо повернуть в ту сторону, с которой нанесен удар, причем чем сильнее вы ударите, тем круче они повернут. А чтобы послать их вперед, надо подкалывать сзади палкой, по мере возможности стараясь попасть под хвост. Но есть и другой способ: слезть с повозки и идти по дороге, куда надо, — волы последуют за вами.

Иллюстрируя свои слова примером, парнишка что-то сказал волам и не оглядываясь побрел к воротам. К нашему полному восторгу, животные покорно поплелись за ним.

Отъехав шагов на двести и видя что все идет гладко, мы поблагодарили благодетеля и решили, что все тайны передвижения на волах нам теперь известны. Я, вооружившись палкой, влез на бочку, чтобы в случае надобности подкалывать, а Флейшер торжественно выступил вперед, на дорогу. Однако быки идти за ним не желали, то ли потому, что он был в красной рубашке, то ли по каким-то иным, неведомым нам причинам. В сердцах я кольнул палкой и попал видимо не совсем удачно, так как упряжка, с места взявшая рысью, почти сразу свернула с дороги на кампу и все набирая скорость, понеслась по изобиловавшим здесь кочкам. Шарахнувшийся в сторону Флейшер остался далеко позади, дамы тоже, я от тряски довольно скоро вывалился из телеги, но к счастью и волы почти тут же остановились.

Не очень надеясь на успех, я все же решил попробовать единственное, что теперь оставалось: стал перед строптивыми животными, проникновенным голосом обругал их по-русски последними словами и пошел по направлению к дороге. О, радость, они без всяких фокусов последовали за мной.

Поняв, что им особенно ненавистен Флейшер, я спрятал его за бочку и, продолжая идти впереди, благополучно довел упряжку почти до самого родника. Но тут на дороге была большая лужа и чтобы не ступить в нее, я необдуманно резво отпрыгнул в сторону. В ту же секунду волы как ошпаренные рванули в придорожные кусты и снова началась джигитовка. Закончилась она в саду соседней чакры, куда телега влетела, сокрушив плетень. Ее владелец благосклонно принял наши извинения и даже помог добраться до родника, где мы наконец наполнили бочку. Обратный путь тоже был богат приключениями, но все же мы вышли из этой неравной борьбы победителями и к вечеру вода была на кухню доставлена.

Вообще управлять парагвайскими волами надо не только умеючи, но и с учетом характера и привычек каждого из них. Есть экземпляры, которые приучены к тому, чтобы с ними всю дорогу разговаривали и как только вы перестанете что-нибудь бубнить, они сейчас же остановятся. Если нужно осадить волов назад, это достигается тем, что спереди плюют им в морды. Когда упрямый вол посреди пути ложится и дальше идти не желает, в числе немногих способов его поднять имеется и такой: укусить за хвост. Не знаю насколько он общепринят, но его применение дважды видел собственными глазами.

МЫ НАЧИНАЕМ ПОЗНАВАТЬ ПАРАГВАЙ

Через несколько дней жизнь группы более или менее наладилась. Семейную половину барака, по классическим образцам беженства, размежевали простынями на отдельные кабинки и навели в них посильный уют. Тараканы как-то притихли и спать почти не мешали, но вскоре выяснилось, что они были заняты бо-

лее серьезным делом, а именно беспощадным пожиранием наших костюмов и иных вещей, развешенных по стенкам и даже сложенных в сундуках и чемоданах. Нафталин, казалось, только возбуждал их аппетит, и если на каком-либо предмете одежды имелось пятно, хотя бы прошедшее самую тщательную чистку, прожорливые насекомые сейчас же выгрызали на этом месте дыру.

И если от тараканов страдали, главным образом, шерстяные изделия, то шелковые с такой же быстротой поедали какие-то серые уховертки. Нашлось сколько угодно специалистов и по всем иным отраслям текстильной промышленности. Через неделю, с грустью взирая на обращенное в решето платье жены и на свой костюм, безжалостно истерзанный тараканами, я решил, что довольно заниматься благотворительностью. Все наши лучшие вещи были уложены в два чемодана, обильно пересыпаны смесью нафталина, перца и табака и отвезены на хранение во французский отель, откуда я их взял только покидая колонию.

Когда миновали дни первой горячки и все утряслось, для публики, не занятой поисками участка, — о чем будет речь дальше, настали дни беспросветной скуки. Единственной формой общественного служения был кухонный наряд, требующий двух человек в день. Впрочем, к нему вскоре прибавилось ночное дежурство, так как у одного из нас таинственным образом исчезли часы, у другого — бритва, у третьего — перочинный ножик и т.п.

Следует пояснить, что по части всех видов воровства Южная Америка далеко обогнала Европу. Проворовавшийся министр, крупный чиновник или депутат здесь явление почти такое же обычное и привычное, как мелкий воришка, ночью вывинчивающий у вас во дворе кран или дверную ручку. И поимка с полным во все не означает конца его карьеры: его сместят, он отсидится где-нибудь в тени, а потом, глядишь, снова выплывет на свет Божий, играет видную роль и еще разыгрывает из себя жертву клеветы и провокации своих политических противников. Что же до воровства, так сказать, низово-

го, то обокрасть „гринго“, т.е. иностранца, тут почти повсеместно считается отнюдь не предосудительным, а скорее похвальным делом.¹

В этой области Парагвай не составляет исключения, и тамошние воры, не оставшиеся в стороне от общего прогресса, сейчас орудуют по лучшим заграничным образцам. Но в те отдаленные времена, которые я описываю, воровство тут носило совершенно самобытный характер, подчиняясь законам какой-то своеобразной этики. Забравшись в чужой дом, вор зачастую уносил какие-нибудь грошевые безделицы или старье, оставив без всякого внимания вещи действительно ценные. И надо добавить, что из-за этих пустяков он рисковал жизнью, ибо здесь каждый вооружен и по законам того времени мог застрелить на месте не только вора, но и любого постороннего человека, без спросу вошедшего в дом или во двор.

В Асунсионе у одного моего приятеля вор, влезший ночью в окно, забрал рабочую куртку, бритву, кухонный нож и еще какую-то ерунду, хотя тут же на столе лежали дорогие часы, бумажник с деньгами и револьвер, а рядом, на спинке стула, висел новый выходной костюм. Знаю и другой случай, когда вор, увидев на столе бумажник, в котором была довольно крупная сумма денег, ограничился тем, что вынул из него сравнительно небольшую часть, а остальное оставил.

Если на кампе у вас крали корову, то исключительно с целью полакомиться мясом и как правило, оставляли на вашей изгороди аккуратно снятую шкуру, которая здесь имела относительно высокую ценность. Если крали лошадь, то обычно чтобы доехать на ней куда надо, после чего ее отпускали на волю и она, в большинстве случаев, возвращалась домой.

Из всех этих примеров полностью выявляется характерная черта такого типично парагвайского воровства: вор брал лишь то, что ему в данный момент было необходимо. Скажем, нужна была бритва или кухонный нож, — он залезал в чужой дом и искал эти вещи, на все прочее не обращая внимания, а если иной

¹Из всех известных мне южноамериканских стран, Уругвай в этом отношении наиболее благополучен, особенно провинция.

раз и прихватывал что-либо „сверх программы“, то обычно руководствовался не ценностью вещи, а произведенным ею впечатлением. И если какую-нибудь квартиру в те годы очищали полностью, то можно было с уверенностью сказать, что тут работал вор-иностранец.

Когда о наших пропажах узнал один из школьных лейтенантов, он сейчас же собрал всех наличных учеников и в результате короткого с ними собеседования, все украденное было нам возвращено. Виновные и не пробовали отпираться или оправдываться, они лишь хлопали глазами и застенчиво улыбались. Во всем этом было гораздо больше детского, чем преступного, и мы сами настойчиво просили никого не наказывать.

Все мы имели охотничьи ружья и некоторые теперь пробовали охотиться. Об изобилии в Парагвае всевозможной дичи колонизаторы писали и рассказывали чудеса, но действительность их пока не подтверждала. В газете „Парагвай“ публиковалось, например, письмо какого-то, вероятно, вымышленного, колониста, который описывал, как он загнал в дупло огромного дерева чуть ли не целое стадо диких кабанов и там перестрелял их из револьвера. Я лично, прожив год в парагвайском лесу, не видел ни одного кабана и ни одного дерева толще метра в диаметре, да и такие были редки.

Здешний лес был до того густ и так добросовестно перевит всевозможными ползучими растениями, что в нем можно было продвигаться только прорубая себе путь мачете¹) и все звери, если они тут и были, предупрежденные этим шумом, заблаговременно убегали.

На кампе встречались, но отнюдь не в легендарном количестве, перепелки, куропатки и какие-то полусъедобные грызуны, похожие на кроликов. Первое время кое-кто такую дичь постреливал, но вскоре благоразумие заставило прекратить это непроизводительное занятие: в расчете на ягуаров, кабанов и тапиров, все запаслись крупнокалиберными ружьями, выстрел из которых обходился 15—16 пезо. Было бессмысленно тра-

¹Мачете — короткая и массивная шашка, применяемая здесь для хождения по лесу и для всевозможных хозяйственных работ.

тить его на перепелку, если за эти деньги можно было купить гуся или пару кур. Я оказался в лучшем, чем другие, положении, так как в Бельгии купил для жены двухстволку 28-го калибра и она для парагвайской охоты пригодилась больше всего.

Гораздо лучше обстояло дело с рыбной ловлей, ради которой любители иногда совершали пешком пред-рассветные прогулки в Концепсион и с пустыми руками никогда не возвращались. Однажды пошел с ними и я. До восхода солнца мы впятером успели удочками наловить больше тридцати килограммов крупной и очень вкусной рыбы, но затем надо было побыстрее возвращаться в школу, чтобы доставить туда улов, пока он не протух. Позже, когда жара усилилась, это стало просто невозможным и ловлю пришлось прекратить.

Река Парагвай тогда изобиловала всевозможной рыбой, среди которой европейских пород я не видел. Самыми крупными были так называемые суруви — нечто родственное сому, но гораздо вкуснее последнего. В Асунсионе я как-то выловил экземпляр, весивший около пятидесяти килограммов, но это никого особенно не удивило: они бывают и значительно больше. Очень вкусными и крупными рыбами являются также дорада, пати (вкусом похожая на лосося) и паку, у которой зубы сильно напоминают человечьи.

Тут же мы познакомились со знаменитой парагвайской пираньей, о которой Брэм говорит, что это самая свирепая и прожорливая тварь в природе. Formой и окраской она смахивает на нашего мирного карася, но гораздо массивнее него и в длину достигает тридцати сантиметров. У нее очень широкая пасть, вооруженная такими острыми и крепкими зубами, что любую леску и даже толстый шнур она перерезает как бритвой, — вот почему при рыбной ловле в Парагвае между крючком и леской всегда надо вставлять кусок проволоки.

Пиранья исключительно кровожадна и, если ей представляется удобный случай, атакует любое живое существо, сразу вырывая у него порядочный клок мяса, а едва в воду попадет хоть немного крови, моментально появляется целая стая, и если жертва не успеет выскочить на берег, ее растерзают в несколько минут.

Таким образом, купание в парагвайских реках всегда сопряжено с некоторой опасностью и войдя в воду рекомендуется побольше шуметь и находиться в постоянном движении. Впрочем, случаев нападения пираний на людей не так уж много, но очень часто тут можно увидеть корову, у которой на вымени не хватает одного, а то и двух сосков: их во время водопоя откусывает пиранья.

Очень опасен и плоский скат, часто встречающийся в парагвайских реках. Он круглый, как камбала, но гораздо больше размером и любит неподвижно лежать на дне вблизи от берега, слегка зарывшись в песок. Если на него наступить, он бьет по ногам своим хвостом, который имеет отросток в виде пилы, покрытый ядовитой слизью. Болезненная, гноящаяся рана, с рваными краями, чрезвычайно трудно поддается лечению и не заживает месяцами. Я знал человека, который, в результате такого ранения, едва не потерял ногу и на всю жизнь остался хромым.

Помню однажды попалась мне на удочку рыба, которую я еле вытянул: она имела в длину 80 см и обладала такими страшными зубами, что я даже не рискнул вытащить из ее пасти крючок. Ее круглые и белые как кипень клыки были длиннее трех сантиметров и по виду не уступали волчьим. К счастью, она довольно редка. Парагвайцы называют ее речной собакой.

СТРАНА ГУАРАНИ

Чтобы лучше уяснить себе характер, психологию и бытовые особенности парагвайского народа, необходимо, хотя бы вкратце, ознакомиться с историей Парагвая. Она сложилась и развивалась совершенно оригинально, и в своих основных, направляющих чертах сильно отличается от истории других южно-американских стран.

До прихода испанцев тут господствовало многочисленное и сильное племя гуарани, ядро которого, согласно преданиям, в глубокой древности выселилось сюда из Азии. Пришельцы постепенно покорили мест-

ные индейские племена, а позже значительную их часть ассимилировали, создав государство, которое по значению можно сравнить с империями инков, ацтеков и маев, хотя оно было менее централизовано и уступало им по культуре. Территория этого гуаранийского Парагвая была огромна и превышала нынешнюю площадь страны (407000 кв. км) по крайней мере в семь раз, захватывая северную часть Аргентины, смежные области Бразилии и весь Уругвай с выходом к Атлантическому океану.

Гуарани обладали многими положительными чертами: благородством, мужеством, свободолюбием и относительной гуманностью. У них, например, не существовало человеческих жертвоприношений и иных варварских обычаев, распространенных среди многих других индейских племен Америки, даже столь культурных, как ацтеки. Это, вероятно, объясняется тем, что у гуаранийцев жреческое сословие никогда не приобретало значения всемогущей касты, а религиозные верования их носили сравнительно мягкий характер.

Создателем вселенной считался у них бог Тупа, который, однако, только делом творения и ограничился. Миром он не управляет, поручив это различным духам, в судьбы людей не вмешивается и никаких предписаний либо наставлений им не дает, предоставив каждому полную свободу воли. Гуарани придерживались также культа предков и верили в бессмертие души, которая, покинув тело, витает возле своего племени и может оказать хорошее или дурное влияние на судьбу близких.

Семья была построена на строго патриархальных началах и на принципе единобрачия, многоженство допускалось только для племенных и клановых вождей — кациков. Высшими достоинствами мужчины считались храбрость, выносливость и умение владеть своими страстями и эмоциями.

* * *

Первым европейцем, в 1528 году добравшимся до реки Парагвай, был испанский мореплаватель Себастьян Габото. Вслед за ним сюда двинулись и конквиста-

доры, подгоняемые уверенностью, что именно здесь они найдут сказочные золотые россыпи и месторождения алмазов, которых, вопреки ходившим слухам, не оказалось на берегах Рио-де-Ла-Платы и нижнего течения Параны.

Гуаранийцы в ту пору не были объединены под власть общепризнанного вождя. Они делились на множество враждовавших между собою кланов, которые по отдельности оказывали завоевателям отчаянное сопротивление, но не сумели организовать своих сил для общего отпора. Испанцы шаг за шагом продвигались вверх по рекам Паране и Парагваю и в 1538 году основали город Асунсион, сделавшийся опорным пунктом их власти. Но ни золота, ни алмазов они тут не нашли и потому испанская Корона вскоре потеряла интерес к этому отдаленному от морских берегов и дикому краю, который и конквистадорам не сулил никаких выгод, причиняя одно лишь беспокойство. И в силу этого, очень скоро полными хозяевами Парагвая сделались миссионеры — иезуиты.

Надо сказать, что первые, примитивно-грубые попытки насаждения тут христианства имели очень мало успеха, ибо чуждый всякому лицемерию и прямолинейный ум индейцев видел в нем вопиющее расхождение между словом и делом. Сохранилась любопытная запись диспута между католическим богословом и одним из гуаранийских кациков. Последний говорил своему оппоненту:

„Ты мне твердишь о мудрости, доброте и кротости вашего Бога, который вам повелевает любить всех людей и относиться к ним как к братьям. Но это явная ложь, потому что во имя этого Бога вы нас убиваете, грабите и насилуете наших женщин. И вы, ради своей выгоды, стараетесь навязать нам то, чего не хотите или не можете исполнять сами. Нет, наш Бог лучше и умнее вашего, потому что он не требует от людей того, чего они не могут исполнить!“

Но когда в Парагвае утвердились иезуиты, в 1608 году основавшие тут свои первые миссии, дело пошло иначе, ибо они действовали умно и гуманно.

Отказавшись от всяких попыток европеизировать индейцев и силою навязать им чуждые обычаи, они

начали со всестороннего изучения страны, составили ее первые карты и разведали естественные богатства, которые таил главным образом растительный мир Парагвая. Изучили они также язык гуарани и убедившись в том, что он очень богат словами, выразителен и благозвучен, не пытались заменить его испанским, а наоборот, создав гуаранийскую письменность (на основе латинского алфавита), открыли ряд школ и стали обучать индейцев грамоте.

Постепенно они завоевали доверие народа, обратили его в христианство, приучили к оседлой жизни и к регулярному труду. Они привезли сюда первых лошадей и коров, положив начало развитию скотоводства, а также и земледелия, причем особое внимание обратили на культуру парагвайского чая „мате“, который вскоре сделался предметом выгодной торговли и широкого экспорта. Успешно развивался и ряд ремесленных производств, которым иезуиты обучили индейцев.

Но что самое важное, они задалась целью создать тут новую расу и в этом вполне преуспели. Тогда как в других южно-американских странах завоеватели старались оберегать чистоту испанской крови и всячески препятствовали смешанным бракам, иезуиты в Парагвае действовали в обратном направлении и такие браки вменяли в обязанность. В результате образовался особый народ, который объединил в себе завоеванных и завоевателей, чем раз навсегда устранялись какие-либо антагонизмы и пережитки былой ненависти.

Этот народ и поныне сохранил язык гуарани, на котором говорит 95% населения страны, причем только 40% знает одновременно и испанский, считающийся государственным. И потому в парагвайских селах, особенно в такой глухой провинции, как наша, иной раз нелегко было найти человека, который хоть немного понимал по-испански. На гуарани говорят также в смежных областях Аргентины и Бразилии — в общей сложности около восьми миллионов человек.

Все коренное население страны, особенно в провинции, и сейчас с гордостью называет себя гуаранийцами, но характерно то, что никто не признает в себе наличия хотя бы капли индейской крови, даже те, у кого цвет кожи и черты лица типично индейские. Тут

царит твердое убеждение, что гуарани это народ совершенно особый, ничего общего не имеющий с индейцами, которых каждый парагваец презирает до глубины души. Назвать его индейцем, это значит оскорбить настолько, что он свободно может пустить в ход револьвер или нож, а если поймет, что вы это сказали просто по неведению, то разъяснит, что индейцы это краснокожая рвань, которая живет в лесах Чако и не достойна даже называться людьми, тогда как гуарани принадлежит к белой расе.

Чувствуя, что его облик в большинстве случаев явно противоречит такой концепции, современный гуарани в душе стыдится тех внешних признаков, которые сближают его с индейцами. Светлая кожа, волосы и глаза — это здесь своего рода патент на благородство и когда у женщины родится такой ребенок, он служит предметом гордости всей семьи и ее никто не осудит, если этот ребенок прижит не совсем праведным образом.

Возвратимся, однако, к прошлому. В результате всех перечисленных выше мероприятий, иезуиты создали в Парагвае особое теократическое государство, которое лишь номинально подчинялось Испании, а на деле было совершенно независимым.

Все население было разделено на своего рода общины, жившие коммунально. Во главе каждой из них стоял свой кацик, но он подчинялся администратору-иезуиту, назначенному правящим центром. Каждый член общины получал все, что, по мнению правителей, было ему необходимо в повседневной жизни, а остальные плоды общего труда шли в иезуитскую казну, постепенно собравшую колоссальные богатства, из которых в Испанию не попадало почти ничего. С властью испанского короля иезуиты вообще мало считались, а когда он издал указ о передаче португальцам некоторых территорий Парагвая, они просто отказались этому подчиниться. Вспыхнула война, которая длилась четыре года. Объединенными силами Испании и Португалии иезуиты были побеждены и в 1768 году изгнаны из Южной Америки, а все их богатства конфискованы. Многие территории Парагвая тоже были отторгнуты.

Однако испанские наместники и администраторы не сумели продолжить дело иезуитов. Страна быстро пришла в упадок, а ее население снова начало дичать. Так шло до 1813 года, когда испанское владычество было свергнуто. К этому моменту в Парагвае было около двухсот тысяч жителей, из которых 10% были чистыми индейцами, а белых насчитывалось всего 800 человек.

Эра парагвайской независимости началась с самовластия президентов-диктаторов, по существу образовавших особую династию. Основателем ее был метис д-р Хосе Франсия, который почти деспотически правил страной около тридцати лет. Потом власть перешла к его племяннику Карлосу-Антонио Лопесу. Назначив одного своего брата архиепископом, другого — премьер-министром, а сына — главнокомандующим, он благополучно „переизбирался“ президентом до самой смерти, а умирая передал власть сыну, маршалу Франциско-Солано Лопесу. И если сам он фактически был некоронованным царем, то Солано уже вполне определенно мечтал об императорской короне.

Он почти сразу ввязался в войну, одновременно с тремя соседними государствами — Аргентиной, Бразилией и Уругваем, которым помогала военным снаряжением и деньгами Англия. Эта война, продолжавшаяся шесть лет, несмотря на исключительный героизм парагвайского народа, в 1870 году закончилась для Парагвая полным поражением. Сам Солано Лопес был в ней убит, также как и его единственный сын — одиннадцатилетний мальчик, имевший, однако, чин полковника и предпочевший смерть, когда ему предложили сдаться.

В результате этой войны Парагвай потерял громадные территории и четыре пятых своего населения. Из 1200000 жителей в живых остались только 220000, из которых мужчин было всего 28000. Страна была совершенно разрушена и разорена.

Только после этого была выработана более демократическая конституция и стали избираться президенты, редкому из которых удавалось, однако, отбыть свой законный срок, так как заговоры, перевороты, революции и восстания следовали одно за другим, вплоть

до 1937 года, когда началась эра президентов-генералов, фактически — диктаторов, которые установили в стране твердую власть и порядок.

НАШИ НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА

Концепсионский бомонд не оставлял нас своим вниманием. Дней через пять после нашего водворения в агрономическую школу, к ней подкатили несколько автомобилей, полных гостей. С ними прибыл и небольшой грузовичок; из него выскочили с полдюжины офицерских денщиков и слуг, которые начали выгружать многочисленные бутылки с вином и каньей, а также всевозможную снедь, в числе которой оказалась целая коровья туша и две-три бараньих.

Денщики с большой сноровкой порезали все это на длинные, плоские ломти, развели посреди двора громадный костер и принялись готовить традиционное южно-американское кушанье, так называемое „асадо“, т.е. мясо, запеченное на железных решетках над медленно тлеющими углями. Блюдо это, когда оно приготовлено со знанием дела, чрезвычайно вкусно и подается обычно без всякой сервировки: каждый получает в руки по огромному куску сочного, ароматного мяса и ест его тут же, возле костра, при помощи острого ножа, который всегда носит на поясе каждый парагваец, точно также, как всякий предусмотрительный русский солдат носил за голенищем деревянную ложку.

Пир удался на славу, гости были милы и приветливы, расспрашивали о наших делах и планах, давали советы и наперебой предлагали свою помощь, если она в чем-нибудь понадобится. В нашей группе трое уже сносно говорили по-испански, кое-кто из гостей владел французским или немецким, переводил и генерал Беляев, так что объяснялись без особых затруднений и ни малейшей натянутости не было.

По распоряжению Керманова, день закончился импровизированным концертом нашего струнного оркестра и хора, которые были очень недурны и посетителей привели в полный восторг. В результате мы получили на ближайшее время приглашение — дать в городе

два-три концерта в пользу раненых. Все они прошли с редким успехом, при переполненном зале и всякий раз после этого нас приветствовали великолепным ужином.

Надо сказать, что парагвайцы любят и ценят хорошую музыку и сами по себе являются народом очень музыкальным. Гитара здесь имеется почти у каждого бедняка и многие играют на ней превосходно. Мне доводилось слышать тут подлинных виртуозов, хотя некоторых из них дальше Концепсиона никогда не бывали и ни разу в жизни не надевали ботинок. Среди гуаранийских песен, обычно грустных и слегка заунывных, многие очень мелодичны и при хорошем исполнении очаровывают слушателя.

В мое время тут повсеместно были в обычае ночные серенады, проводившиеся по всем правилам испанской классики: около полуночи кавалер подходил к дому своей возлюбленной и под аккомпанимент гитары принимался распевать приличные случаю романсы; через некоторое время его дама сердца появлялась в окне или на балконе, благодарила, а иногда бросала ему цветы. Все это отнюдь не считалось нескромным и девушку, по местным понятиям, нисколько не компрометировало. Часто вздыхатель являлся не один, а в сопровождении нескольких друзей, с гитарами и с хорошими голосами, а иной раз даже нанимал профессиональных певцов и музыкантов. В Асунсионе я не раз наслаждался подобными серенадами, а однажды мне довелось прослушать целый ночной концерт, устроенный под окнами нашей соседки, видимо, каким-то богатым поклонником, ибо ангажированный им оркестр приехал на четырех автомобилях.

Кроме первого, массового визита, к нам в школу часто навевывались отдельные лица или небольшие компании из числа новых знакомых. В свою очередь и мы навещали их в городе, где нас всегда принимали с редким радушием. На все эти знаки внимания мы, незадолго до отъезда в лес, ответили устроенным в школе ужином и концертом, пригласив всю городскую знать. Так как среди гостей было много молодых офицеров и барышень, вечер закончился танцами, которые затянулись далеко за полночь.

Конечно, все эти знакомства носили чисто транзитный характер и были естественны пока мы еще сохраняли марку русских офицеров. Но с нашим переходом на крестьянское положение они сами по себе почти заглохли. И не потому, что к нам стали относиться хуже, — отделились от этого общества мы сами: забравшись в лесную глушь, погрязнув в тяжелой работе, обносившись и вскоре оставшись без денег, невозможно было поддерживать светские связи.

Но в то же самое время у нас начали завязываться другие знакомства — с людьми нашего нового круга, которым суждено было в будущем только укрепиться.

Едва распространился слух о приезде нашей группы, в школу явились три крестьянина менонита¹. От них мы узнали, что в концепсионском районе находится более двадцати семей их единоверцев, в поисках лучшей жизни сбежавших из Чако. Так как ни у кого из них не было средств на какие-нибудь приобретения, почти все поселились в сельве², верстах в шестидесяти от Концепсиона и начали расчищать себе участки под посевы. Но этим троим повезло.

Один устроился кем-то вроде сторожа при заброшенном городском ипподроме, где был обеспечен жилищем и небольшим участком пастбища, что позволило ему купить на выплату десятков коров и заняться молочным хозяйством, продукты которого находили сбыт на концепсионском рынке. Другому посчастливилось найти в лесу покинутую прежним владельцем чакренку (это здесь не такая уж редкость), которую он привел в порядок и уже сделал кое-какие посадки и посевы. Третьему уехавший на родину миссионер-англичанин оставил во временное пользование хороший дом и усадебное хозяйство в большом селе Велен, верстах в тридцати от Концепсиона. Звали этого менонита Корнелием Васильевичем, он был немного культурнее других и в Чако исполнял обязанности учителя. Дюжий, пышущий здоровьем сорокалетний мужчина, он был исключительно трудолюбив и предприимчив,

¹Менониты — немецкая религиозная секта, близкая к евангелистам, при императрице Екатерине II выселившаяся в Россию.

²Сельва — южноамериканские джунгли.

уже отлично владел не только испанским, но и гуаранийским языком, и в нашей дальнейшей жизни ему было суждено играть крупную роль.

Он охотно брался за все, что могло принести ему хотя бы ничтожный заработок и потому деловые отношения с ним у нас завязались с первого дня знакомства: узнав, что мы ежедневно потребляем литров двадцать молока, он предложил регулярно его доставлять по самой скромной цене, и с немецкой пунктуальностью привозил из своего села, проделывая в каждый конец по двадцать километров. Вскоре он начал возить и хлеб, который нам взялась выпекать его жена; потом стал поставлять и мясо.

Когда кто-нибудь хотел купить лошадь, менонит быстро находил подходящую и по цене, и по качествам. Здесь все ездили на местных „креольских“ седлах, с моей точки зрения очень неудобных, — я выразил желание приобрести английское, и он его в скором времени разыскал, так же, как и дамское для моей жены. При его помощи купили мы телеги и многое другое. Конечно, на всех этих сделках он кое-что зарабатывал, но жизнь на каждом шагу показывала, что без его посредничества все это стоило бы нам много дороже. Словом, зная все и всех в этом районе и будучи, не в пример нам, деловым и расторопным человеком, Корнелий Васильевич оказался нашим добрым гением и судьба его за это вознаградила: к тому времени, когда мы окончательно обанкротились (не по его, конечно, вине), он, благодаря тому, что на нас заработал, прочно встал на ноги.

Стоит рассказать и еще об одной встрече с земляками, тем более, что она хорошо иллюстрирует нравы колонизаторов и то общее положение, которое существовало в среде русских старожилов Парагвая.

Однажды кто-то нам сообщил, что в Концепсион приехала новая партия русских колонистов. Генерал был в отъезде и мы, чрезвычайно удивленные, немедленно отправили в город двух человек, чтобы узнать, кто это такие. Выяснилось, что действительно накануне туда прибыла небольшая группа русских крестьян из Литвы с целью осмотреть этот район и приискать место для поселения. Но привезла их другая организа-

ция, которую возглавлял конкурент Беляева, полковник Булыгин. По распоряжению последнего, в дом, где остановились эти крестьяне, наших представителей самым бесцеремонным образом не впустили и были приняты все меры, чтобы никаких встреч и разговоров между нами не допустить.

Несколько дней спустя, в порядке осмотра окрестностей, эта группа посетила агрономическую школу. Все мы сидели на балконе и во дворе, когда туда вошло человек пятнадцать крестьян, державшихся плотно сбитой кучкой. Впереди, с каменным лицом, шагал Булыгин, а сзади его помощник; оба, войдя во двор, демонстративно расстегнули кобуры своих револьверов. Подошли к колодцу, возле которого сидело несколько наших, вытянули ведро воды, попробовали на вкус и потолковали об ее качествах, нас как бы вовсе не видя. Булыгин — кадровый офицер и первопоходник, прекрасно зная, что и мы все офицеры, тоже нас „не замечал“ и не поздоровался даже с Кермановым. Он был „эрновской“ ориентации и тех, кто вольно или невольно соприкоснулся с генералом Беляевым, за рукопожатных людей, очевидно, не считал. Кроме того, он, разумеется, не хотел допустить никакого обмена мнениями между нами и своими подопечными, ибо при этом легко могло выясниться, кого из нас больше надули. Когда я все же улучил удобную минуту и обратился к одному из литовских крестьян с каким-то вопросом, тот испуганно оглянувшись ответил: „Нам говорить с вами не велено, а кто не послушает, тому не дадут земли“.

Было забавно и грустно наблюдать эту постыдно-нелепую сцену, особенно являясь не простыми ее свидетелями, а, так сказать, „товаром“, из-за которого эти своеобразные дельцы ломали друг с другом копыя.

Эта булыгинская группа тут ничего подходящего не нашла и уехала в район Энкарнасиона, где основала колонию „Балтика“.

Думаю, что из моего повествования читателю уже вполне ясна подоплека русской колонизации в Парагвае: она проводилась с кондачка, безответственными и достаточно беспринципными дилетантами, которые все свои усилия направляли на то, чтобы так или ина-

че, не останавливаясь даже перед прямым обманом, завлечь своих соотечественников в Парагвай и поскорее приткнуть на землю, а дальнейшая судьба этих колонистов их фактически не интересовала. Пресловутая „станция имени генерала Беляева“, вся построенная на лжи и существовавшая только в рекламе, служит тому достаточно убедительным примером. И если некоторые русские колонии тут все же выжили и окрепли, этим они обязаны кому и чему угодно, только не таким колонизаторам.

Для сопоставления скажу несколько слов о том, как в этих странах проводилась колонизация японская.

Однажды, обедая во французском ресторане, в Концепсионе, я обратил внимание на трех сидевших за соседним столиком японцев, по одежде и по манерам сразу было заметно, что это вполне культурные люди. Хозяйка нас познакомила, все трое отлично говорили по-испански и по-французски. Из разговора выяснилось, что японское правительство командировало их сюда для детального ознакомления с краем и изучения степени его пригодности для японской колонизации. Один из них оказался ученым агрономом, другой доктором медицины, третий инженером. Они обстоятельно исследовали район, не оставив без внимания ни одной мелочи, нашли здешние условия мало благоприятными для земледелия и после этого ни один японский колонист сюда не приезжал.

ПЕРВОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕСТНОСТЬЮ

Поиски подходящего места для нашего поселения начались уже на третий день по приезде. Прежде всего директор школы инженер Бахак предложил показать нам район, непосредственно примыкающий к школьным владениям. Здесь, по его словам, мы могли бы выбрать недурной участок, удовлетворительный в смысле воды и выгодный своей близостью к городу.

— Конечно, — присовокупил он, — опушки тут всюду заселены, и чтобы иметь цельное владение,

включающее и лес, и кампу, вам их придется откупить у нынешних хозяев.

— А если они не захотят продавать? — спросил Керманов.

— Любой продаст с великим удовольствием и притом очень недорого, — ответил Бахак. — Ведь это все мелкие земледельцы-крестьяне, денег у них почти не бывает и заработать их трудно, а потому каждый охотно продаст все, на что нашелся покупатель, чакру же в особенности, ибо земля ему ничего не стоит, строительные материалы тоже. Он сейчас же поселится в другом месте, начнет расчищать лес и вскоре будет иметь новое хозяйство, плюс деньги, которые позволят ему устроиться теперь гораздо лучше.

Надо пояснить это положение. В северной, тропической зоне Парагвая большая часть земли и, в частности, почти все леса принадлежат казне. Есть, конечно, и крупные владения помещиков-скотоводов, но они со всех сторон огорожены проволоочной изгородью и никто посторонний туда внедряться, разумеется, не станет. Что же касается казенных земель, то правила здесь таковы¹: каждый желающий может выбрать свободное место, где ему понравится и на нем поселиться. Как только он поставил изгородь, хотя бы временную, из плетня или из жердей, огороженный участок уже за ним и никто другой на него не посягнет, покуда он сам его не бросит.

Но все же, если он хочет закрепить свои права и получить временный документ на владение этим участком, закон обязывает его предварительно расчистить и обработать не менее трех гектаров, построить законное жилище, посадить вокруг него минимум сорок фруктовых деревьев (апельсинов и мандаринов) и отгородиться законной изгородью.

Законное жилище может представлять собой любую хижину или даже просто навес, но при условии, что его столбы, перекрытия и стропила будут сделаны из определенных пород деревьев, неподдающихся гниению и червоточине. Таких по-

¹Такие правила, во всяком случае, существовали тогда, в тридцатых годах.

род, во всяком случае общеупотребительных, в здешних лесах было четыре. Что касается крыши, то она может быть сделана из чего угодно (тут ее обычно кроют осокой).

Законная изгородь должна состоять из пяти рядов проволоки, причем три — из колючей; поддерживающие ее столбы ставятся на двухметровых интервалах и каждый второй должен быть сделан из негниющего дерева.

Как только вы все эти требования выполнили, местный администратор, т.е. волостной староста, записывает участок на ваше имя. Но он еще не совсем ваш: чтобы стать его полным собственником и получить официальную купчую, надо уплатить казне стоимость земли. В таких глухих местах она в то время была очень невелика, два-три доллара за гектар. Но власти с выплатой никого не торопят и, пока можно тянуть, все тянут, тем более, что по закону человек лишается права на занятую им землю только в том случае, если он семь лет подряд ее не обрабатывает, иными словами, если он сам ее бросил и перешел в другое место.

Когда такой полулегальный хозяин продает свою чакру, в расчет принимаются и подлежат оплате только постройки, посевы, изгородь и затраченный на расчистку леса труд, земля же идет в виде бесплатного приложения, ибо она и продавцу ничего не стоила. И с этого момента покупатель приобретает на нее такие же права, какие имел предыдущий хозяин, о чем ставится в известность местный администратор.

Вот о таком откупе уже занятых тут опушек нам и говорил директор школы. Это обстоятельство нас нисколько не пугало, так как мы уже знали, что все опушки, вблизи которых есть вода, тут повсеместно заселены и где бы мы ни поселились, этот расход будет неизбежен и к тому же вполне оправдан тем, что мы сразу получим некоторое количество очищенной от леса и обработанной земли, а также и жилища, которыми можно будет удовлетвориться на первое время.

Ближайшие к школе места группа почти в полном составе обошла и осмотрела в течение первых же дней. В качествах почвы, а здешней в особенности, никто из нас ничего не смыслил. Но набравшись теоретической мудрости от знакомых парагвайцев, мы уже знали, что тут, в противоположность Европе, чернозем наименее плодороден, а лучшей для агрокультуры землей считается красная, почти кирпичного цвета. Она обыкновенно бывает под лесом, хотя встречается и на кампах, которые в большинстве случаев черновато-песчаны и покрыты кочками. Годятся они только под пастбище, и лишь в тех местах, где почва получше, — под плантации хлопка.

Применяя этот критерий, все что мы поблизости увидели, казалось мало пригодным для земледелия: почва и под лесом была не очень красна, а на кампе явно преобладал песок. Правда, на некоторых чакрах, из посещенных нами, имелись совсем неглубокие колодцы, значит близка была подпочвенная вода, но всей важности этого обстоятельства мы еще не знали, думая, что и всюду будет приблизительно также. Пренебрегли мы и близостью к городу, т.е. к рынку сбыта, — короче говоря, эти участки были нами единодушно забракованы, о чем позже пришлось сильно пожалеть, ибо несколько месяцев спустя всем стало ясно, что поселись мы на этом месте, наша колония оказалась бы гораздо жизнеспособнее.

На осмотр более отдаленных участков уже надо было выезжать верхом, а так как своих лошадей еще ни у кого не было и приходилось пользоваться чужими, на эти разведки обычно отправлялись генерал Беляев, Керманов и я, а если удавалось достать лишних коней, нас сопровождал еще кто-нибудь.

За неделю мы изъездили весь район, радиусом километров на двадцать и ничего подходящего не нашли. Ближе к Концепсиону и к берегу Парагвая всюду была близка подпочвенная вода, но земля никуда не годилась, это был почти чистый песок, а кое-где чернозем — явный признак того, что во время разливов эти места затопляются. В другую сторону тянулись

леса и кампы — тут во многих местах почва казалась хорошей, но нигде не было заметно никаких признаков влаги.

Только в двух местах мы видели небольшие роднички воды, в которых едва хватало на самые элементарные потребности нескольких поселившихся тут парагвайских семейств. А однажды нашли очень хорошую опушку, на которой стояла одна-единственная заброшенная хибарка. Возле нее увидели мы очень глубокий, но совершенно пустой колодец, который видимо копали люди упорные и во что бы то ни стало желавшие здесь поселиться. Как нам после сказал один из окрестных жителей, они углубились в землю на сорок с лишним метров, но воды не нашли и отправились куда-то в другое место.

Помню во время одной из этих поездок мы довольно долго двигались по лесной просеке и почти неожиданно выехали на громадную — не меньше километра в диаметре — поляну. Окинув ее взглядом, я в первый момент опешил и не мог сообразить в чем дело: перед нами раскинулось нечто вроде города, выдержанного в строго готическом стиле. Оказалось, что вся поляна покрыта глиняными сооружениями муравьев, напоминающимиobelisks, пирамиды и башни. Многие из них были выше головы всадника. Я попробовал ковырнуть один муравейник мачете, он не поддавался и был тверд как бетон.

Разумеется, в районе такого муравьиного города никакое человеческое поселение немислимо: все посевы и посадки будут немедленно съедены. Впрочем, муравьи тут нигде и никого не оставляют в покое, а борьба с ними почти невозможна без затраты крупных средств, которыми крестьяне, понятно, не обладают.

В парагвайской провинции, где бы вы ни остановились, если с этого места вообще можно что-нибудь увидеть, муравейник, а чаще несколько, вы увидите непременно. Однажды во время дальней верховой поездки я заночевал на очень уютно выглядевшей чакре. Вечером мы пили с хозяином терере возле его хижины, окруженной тенистым апельсиновым садиком, а утром, проснувшись, я не поверил глазам, все эти апельсиновые деревья стояли го-

лыми, листья с них срезали нагрянувшие ночью муравьи-стригуны.

Позже я не раз наблюдал организацию таких налетов: часов в десять вечера, когда все уже спят, несметные полчища муравьев вливаются в сад. Часть их сейчас же взбирается на деревья и начинает срезать с них листья, перекусывая черенки; другая часть режет их внизу на небольшие кусочки, а третья, сплошным потоком, напоминающим зеленый ручеек, тащит эти кусочки в муравейник, иногда находящийся за добрый километр от сада.

Другой сорт здешних муравьев, более мелких, агрокультурой не интересуется, но такие же ночные набеги устраивает на жилые помещения. Тогда надо вскакивать с постелей и попроворней удирать. За ночь муравьи сожрут в доме все съестное, а заодно и все живое, т. е. тараканов, пауков и прочую пакость. К рассвету они уходят и хозяева получают возможность возвратиться в свое отлично вычищенное жилище. Насколько я заметил, парагвайские крестьяне такие санитарные нашествия даже любят.

Кроме этих двух особенно распространенных пород муравьев, есть тут и множество других, размерами от миллиметра до дюйма.

Итак, первый круг наших исследований дал мало утешительные результаты: стало вполне очевидно, что в относительной близости от Концепсиона мы ничего подходящего не найдем. Однако Корнелий Васильевич уверял, что неподалеку от его села и не далее чем в сорока километрах от города есть великолепные для поселения места, которые он может нам показать. С другой стороны и Бахак советовал обследовать хорошенько участок, расположенный примерно в тридцати верстах от города, на линии узкоколейной железной дороги, ведущей в глубину леса и предназначенной не столько для пассажиров, сколько для вывоза оттуда ценных пород дерева.

Чтобы не терять времени, было решено, что Керманов с двумя спутниками отправится на обследование этого участка, а я, с другими двумя — на осмотр района, предложенного менонитом.

ПАРАГВАЙСКОЕ СЕЛО

До села Велен, где жил Корнелий Васильевич, от школы было километров двадцать. Туда решено было добраться пешком и потому мы выступили на рассвете, чтобы прибыть на место до наступления полуденной жары. Остаток дня мы хотели посвятить осмотру села и визиту к веленскому администратору, у которого имелись планы его района, с обозначением всех уже занятых участков. Ознакомившись с этими планами, на следующее утро предполагалось вместе с администратором выехать на осмотр свободных земель. Лошадей для этой поездки Корнелий Васильевич обещал достать в селе.

Путь лежал через леса и кампы, но нашу тройку сопровождал менонит, хорошо знавший эти места и потому до Велена мы добрались без всяких приключений, не заблудившись и не встретив по дороге живой души.

Не знаю как сейчас, но в то время путешествия по всей тропической зоне Парагвая были совершенно безопасны и о каких-либо нападениях и грабежах мне никогда не приходилось слышать, равно как и о пьяных скандалах с применением огнестрельного оружия. Правда, здесь существует весьма мудрая традиция или неписаный закон: входя в какое-либо питейное заведение, каждый прежде всего отстегивает револьвер и вручает его хозяину, чтобы забрать только при выходе. А вообще, насколько я заметил, револьверами тут пользуются главным образом для того, чтобы на каких-нибудь радостях пострелять в воздух. Это неизменно происходит во время сельских пирушек, по случаю больших праздников или событий, а в тот день, когда была победно окончена война с Боливией, в Концепсионе шла такая пальба из всех видов огнестрельного оружия, что непосвященный человек принял бы ее за большое сражение.

Говоря о безопасности передвижения по парагвайской провинции, следует сделать маленькую оговорку относительно женщин. Во всей Южной Америке распространен обычай: если молодая женщина идет одна — будь то в глухом селе или в центре столицы — поч-

ти каждый встречный мужчина отпустит ей какой-нибудь банальный комплимент или вполне вежливо попытается заговорить, а дальше уже ведет себя в зависимости от того, как это будет принято. Если никак, больше он не пристаёт и идет своей дорогой. Все представительницы прекрасного пола повсеместно к этому явлению привыкли и не обращают на него никакого внимания, рассматривая как почти обязательную дань их молодости и привлекательности. Если к женщине никто на улице не пристаёт, это служит для нее очень печальным признаком.

Такой обычай существовал и в Парагвае, но тут жизнь в него внесла некоторые особенности, имеющие вполне логическое объяснение: после страшной войны 1864—1870 гг. мужчин в стране осталось так мало, что на каждого из них в среднем приходилось по семь женщин. Равновесие восстанавливалось очень медленно и к тому времени, которое я описываю, соотношение, кажется, выражалось формулой 1:4, а принимая во внимание новые потери мужчин на боливийской войне, следует считать 1:5. Такое положение прежде всего привело к своеобразной форме многоженства, о которой я дальше буду писать подробнее, а также и к тому, что многие женщины тут поневоле стали легко доступными, ибо только одна из пяти имела возможность создать нормальную семью.

Как следствие этого, каждый парагваец, повстречавшись в лесу или на кампе с молодой женщиной, которая идет одна, усматривает в ней искательницу определенных приключений и пройти мимо считает просто несовместимым со своим мужским достоинством. Тут дело уже обычно не ограничивается одними комплиментами, а потому женщина, которая хочет оградить себя от подобных покушений, никогда в одиночку не ходит. Ее спутником отнюдь не должен быть мужчина, вполне достаточно даже двухлетнего ребенка. Его присутствие служит признаком благонамеренности женщины и гарантией ее безопасности, ибо в этом случае ее никто не тронет. Отправляясь куда-нибудь, даже недалеко от дома, каждая парагвайская крестьянка берет с собой ребенка, а если нет своего, просит „взаймы“ у соседей.

Почти все парагвайские селения, которые я видел, состоят из одной улицы, если не просто из одной линии чакр и чакренок, растянувшихся по опушке леса иногда на многие километры. Но Велен от них резко отличался и представлял собой настоящее, большое село, весьма благоустроенное по сравнению с другими. Несомненно, когда страна выйдет на путь подлинного прогресса, он превратится в город и притом отрадного облика, хотя бы уж потому, что стоит на довольно крупном притоке Парагвая, реке Ипанэ, которую, затратив сравнительно небольшие средства, в нижней части течения легко можно сделать судоходной.

Тут было не менее двухсот дворов и большинство жилищ, окруженных цитрусовыми деревьями, выглядели опрятно, а в центральной части попадались и совсем приличные домики, с оштукатуренными и чисто выбеленными стенами. Значительная часть строений была крыта не осокой, а черепицей или оцинкованным железом.

Забегая вперед, скажу, что количество этих железных крыш в скором времени значительно уменьшилось стараниями нашего приятеля Корнелия Васильевича. Будучи оборотистым человеком, он первым пронюхал, что в Концепсионе сильно поднялись цены на железо и сразу сообразил как использовать это обстоятельство.

Как я уже отмечал, в Парагвае продается все, на что есть покупатель, а если сделка совершается за наличный расчет, то все что угодно можно купить за бесценок. И предприимчивый менонит начал одну за другой покупать в Велене постройки, крытые железом. Вступив во владение очередным домиком, он сейчас же снимал с крыши железо, а с изгороди проволоку и, продав эти материалы в Концепсионе, не только окупал свои расходы, но и недурно зарабатывал. Сверх того, иногда ему удавалось по-дешевке продать столбы и оторванные от стен доски, а остатками от дома он не интересовался и бросал их на произвол судьбы.

В результате несколько месяцев его деятельности, вся лучшая часть Велена стала выглядеть как после

основательной бомбежки: на каждом шагу тут грудилсь руины обезглавленных и изуродованных домов. Видя такое дело, местные власти, наконец, всполошились и дальнейшее разрушение Велена было Корнелию Васильевичу запрещено. Думаю, что если бы этот благоразумный шаг запоздал еще на два-три месяца, вошедший во вкус и пылающий нечеловеческой энергией менонит оставил бы от всего села не больше, чем римляне оставили от Карфагена.

Однако, в описываемую пору все крыши были еще на своих местах и село выглядело очень привлекательно. В нем имелись католическая церковь, школа, почта и несколько лавок, в которых можно было купить все необходимое для крестьянского обихода. После долгого перехода по безводной местности, мы мечтали промочить горло чем-нибудь холодным и потому зашли в первую же из них. Во всем нашем округе, за исключением Концепсиона, льда нигде не было и многие даже не знали что это за штука, а потому хозяин подал нам безобразно теплое пиво, которое считается здесь холодным, ибо бутылки стоят в чане с водой, имеющей температуру около 30°C.

Пока мы утоляли жажду, я заметил на одной из полок большую кипу звериных шкур и заинтересовался ими. К парагвайской дешевизне мы уже успели привыкнуть, но все же когда хозяин начал показывать мне свой товар и называть цены, я не поверил ушам: здесь, уже из вторых рук, шкура ягуара продавалась за 500 пезо (1 доллар 15 центов), пумы — за 60 пезо (15 центов), а самым дорогим оказался мех леопардовой кошки: ее шкура стоила 850 пезо (около двух долларов).

Менонит жил в самом центре села и его дом был здесь едва ли не самым лучшим. Он состоял из четырех небольших комнат, вполне прилично обставленных, и широким балконом выходил в тенистый сад, за деревьями которого виднелись всевозможные службы и скотный двор, по которому бродило несколько коров, свиней и множество домашней птицы.

Все это принадлежало врачу-англичанину, который прожил тут много лет, являясь одновременно миссионером-евангелистом. В глубине сада стояла и церковь,

вернее молитвенный дом, так как кроме кафедры для проповедника и деревянных скамеек в ней ничего не было. За год до нашего приезда англичанин уехал на родину, однако, не исключая возможности возвращения, он продавать ничего не захотел, а передал все свое имущество Корнелию Васильевичу, с условием, что последний будет заботиться о церкви и продолжать миссионерскую деятельность своего предшественника, ибо между учением менонитов и евангелистов в основах почти нет разницы.

Первое время менонит честно соблюдал эти условия: в положенные дни собирал свою паству, читал ей проповеди и даже завербовал трех или четырех неофитов. Но протекали месяцы, доктор не возвращался, письма от него приходили все реже и Корнелий Васильевич помаленьку начал распорядиться наследством. Рассудив, что молиться можно и в саду, он, после некоторой душевной борьбы, продал из церкви скамейки. Как и следовало ожидать, гром не грянул, небо не обрушилось и вообще ничего неприятного не случилось. Тогда была продана с церкви крыша, которая на свою беду оказалась железной. За крышей последовало все, что можно было продать в розницу, а вскоре после моего отъезда из колонии был продан и сам дом, так как Корнелий Васильевич собрал достаточно денег, чтобы осуществить свою заветную мечту и переселиться в Канаду.

Но сейчас все еще находилось в полной сохранности и содержалось в образцовом порядке. Кроме этого имущества, менониту принадлежал на самом берегу реки, за селом, участок земли, размером около четырех гектаров, на котором росло более семисот апельсиновых и мандариновых деревьев, была там и небольшая хижина. Корнелий Васильевич усиленно уговаривал меня купить этот сад (земля была, как и всюду, „бесплатно-казенная“) и просил за него всего 2.000 пезо, т.е. меньше пяти долларов, что лишь немного превышало стоимость проволочной ограды. Такие цены читателю вероятно кажутся просто неправдоподобными. Но не следует забывать, что во внутреннем обиходе Парагвая тысяча пезо, как и прежде, оставалась громадной суммой и никого не интересовало то обстоя-

тельство, что где-то за границей ее теперь стали оценивать в два доллара.

Предложение менонита было очень соблазнительным, а местечко мне чрезвычайно понравилось. И только нежелание отрываться от своих и обрекать себя и семью на совершенно изолированную жизнь заставила меня отказаться от этой покупки.

Осматривая этот участок, мы, конечно, воспользовались случаем, чтобы выкупаться. Река Ипанэ проложила свое русло по непроходимым лесам и лишь в нижнем течении ее берега кое-где доступны для человека. Возле Велена она имеет метров сто ширины, довольно глубока и кристально чиста. В эту одуряющую жару было так приятно освежиться купанием, да и просто вдоволь напиться хорошей воды, без всяких привкусов, что мы затянули это удовольствие почти до темноты.

Только тут я вполне осознал, что поселение в непосредственной близости от такой реки может разрешить все наши проблемы, а главное — примирить людей со всеми невзгодами и тяготами предстоящей нам жизни. И я решил сделать все возможное, чтобы отыскать землю для нашей колонии именно на берегу Ипанэ.

ОБЪЕЗД ВЕЛЕНСКОГО РАЙОНА

Администратор Велена оказался простым крестьянином, но побывал на военной службе, хорошо говорил по-испански и, видимо, был из зажиточных. Он принял нас радушно и с готовностью выложил на стол планы района. Из них явствовало, что свободных земель тут было хоть отбавляй, но вся прибрежная полоса принадлежала крупным помещикам, которые здесь не жили и эти угодья оставались у них в первобытном состоянии, по большей части даже не были огорожены. Администратор утверждал, что любой из них охотно предоставит нам право пользоваться берегом реки или дешево продаст часть своих прибрежных владений, к которой можно будет смежно добавить сколько потребуется казенной земли.

Вечером жена Корнелия Васильевича, которая ни слова не знала ни на одном языке, кроме немецкого, угостила нас отличным ужином, после чего мы завалились спать, а на рассвете были разбужены менонитом, наскоро напились чаю и вышли на двор, где нас уже ожидали четыре лошади, к сожалению, все под креольскими седлами.

Такая седловка вещь довольно сложная: на спину лошади последовательно накладываются — рядно или просто — мешок, два потника, нечто вроде короткого вальтрапа из толстой кожи, деревянный ленчик, подпруга, две бараньих шкуры с мехом, кожаная покрывка и наконец вторая подпруга. Получается такое пышное сооружение, что ноги у всадника расперты в стороны и правильная посадка ему затруднена до предела. Уздечки тут применяются исключительно мундштуковые, а стремена деревянные, лишь снаружи окované железом, — очень часто всадник за них держится только большим пальцем босой ноги. Он, конечно, не облегчается, на таком седле это почти невозможно, да и рыси тут, как аллюра, не существует, все лошади ходят только шагом или галопом, и нам своих верховых коней приходилось к рыси специально приучать.

Все парагвайцы хорошие наездники и скачки, устраиваемые по праздникам почти в каждом селе, являются их излюбленным развлечением. Но при езде никто каких-либо определенных правил не придерживается и каждый сидит в седле, как ему удобней. Зато особое внимание обращается на то, чтобы лихо сесть на коня или въехать на нем в чужой двор. Тут уж всадник без всякой жалости дает шпоры и мундштуки, лишь бы лошадь под ним загарцевала и завертелась чертом. В силу такого воспитания, сплошь и рядом самая мирная парагвайская кляча, которая в пути скорее даст себя убить, чем пойдет быстрее черепахи, когда вы на нее садитесь, начинает вдруг симулировать бешеный темперамент, храпит, рвется, становится на дыбы и т.п.

При выезде из села к нам присоединился администратор. Он сидел на отличном коне и был одет с заметным шиком, но без сапог, и громад-

ные рыцарские шпоры красовались у него прямо на голых пятках.

Эта всеобъемлющая парагвайская босоногость вовсе не является следствием бедности, как я вначале думал. Добротные крестьянские сапоги в то время стоили тут 300 пезо, а более легкую деревенскую обувь можно было купить буквально за гроши, однако пользовались ею почти исключительно иностранцы, ибо парагвайцы отличаются каким-то органическим отвращением к обуви, часто доходящим до анекдотичности. Даже богатые люди, горожане и помещики, которых положение обязывает выходить в сапогах или в ботинках, по возвращении домой их обычно сейчас же сбрасывают.

Помню, однажды, в лучшем обувном магазине Асунсиона я покупал себе ботинки, когда туда вошел парагваец, одетый в безукоризненно сшитый европейский костюм, при галстуке, накрахмаленном белом воротничке и прочих онерах. Ботинки на нем тоже были, но он хотел купить новые. Примерив несколько пар, выбрал, наконец, одну из самых дорогих, затем попросил у продавца сапожный нож и собственноручно вырезал на обоих новых ботинках по большой круглой дыре в области мизинцев, где у него, очевидно, были мозоли, надел обновку, расплатился и вышел.

Русские офицеры, участники боливийской войны, мне рассказывали, что даже в Чако, где земля покрыта всевозможными колючками и зарослями кактусов, солдаты упорно ходили босиком, а выданные им казенные ботинки носили в ранцах и всячески старались потерять.

В Асунсионе я часто ловил рыбу возле президентского дворца, у входа в который стояли парные часовые — гвардейцы в очень импозантной парадной форме. И неоднократно наблюдал комическую процедуру их смены: разводящий подводит к двум старым часовым двух новых, все пятеро в зеркально начищенных черных ботфортах. Но едва он завел за угол сменных часовых, новые моментально стаскивают с себя ботфорты и аккуратно ставят их рядом, чтобы вновь одеть только за несколько минут до смены. Мимо проходят офицеры и генералы, босоногие часовые отчетливо берут на караул, начальство им благодушно отказы-

ривает и по поводу того, что они стоят на посту отдельно от своих ботфортов, не говорит ни слова.

И другая сценка, традиционная для тогдашнего Асунсиона: на главной улице города стоит полицейский и дирижирует движением. Он в полной форме, но босиком, а сапоги стоят рядом. Однако, если в поле его зрения появится прохожий, хотя бы отлично одетый, но без пиджака, он его немедленно арестует — это тут считалось вопиющим неприличием. А в пижаме можно было разгуливать по столице сколько угодно. Мой большой приятель хан Нахичеванский, человек грузный и сильно страдавший от асунсионской жары, упорно ходил по городу в спортивной рубашке с галстуком и его столь же упорно арестовывали, пока он не раздобыл медицинского свидетельства о том, что в пиджаке ему ходить нельзя по состоянию здоровья.

Однако, я отвлекся от событий дня. Путь наш лежал через бесконечно длинную кампу, тянущуюся параллельно реке и покрытую кое-где небольшими перелесками; слева ее окаймляли невысокие, поросшие довольно редким лесом холмы, а справа виднелась темная полоса прибрежной сельвы. Ландшафт производил приятное впечатление, а кампа, не в пример „школьной“, была покрыта свежей, сочной травой и выглядела отрадно.

По предложению администратора, было решено начать осмотр с самых удаленных от Ипанэ участков, а на обратном пути держаться ближе к берегу и посмотреть, есть ли что-нибудь подходящее там. Путь предстоял долгий, и чтобы скоротать время, я завязал „познавательный“ разговор с менонитом:

— Как вам кажется, Корнелий Васильевич, выйдет здесь что-нибудь путное из нашей колонии, или мы только зря потеряем время и деньги?

— Трудно сказать, — помедлив ответил менонит. — Конечно, и жить, и работать тут можно. Не пропадете и вы, если по-настоящему станете трудиться и устоите перед всеми ожидающими вас испытаниями. Земля здесь плодородная. Для жизни она даст все, что вам нужно, а вот для кармана почти ничего.

— А что же надо делать, чтобы и карман пополнялся?

— Можно подыскать какую-нибудь побочную статью дохода. Приобрести, например, грузовик, скупать у крестьян продукты и возить их в город. Впрочем, я это уже испробовал и прогорел... А то можно организовать небольшой заводик и гнать канью — на нее всегда есть спрос.

— Почему же вы этим не займетесь?

— Слишком дорого стоит оборудование и разрешение. Если бы у меня были такие деньги, я бы тут и без всякого завода через десяток лет стал миллионером!

— Каким же образом?

— Занялся бы скотоводством! Ведь этот район для него создан самим Богом! Земледелием тут перебивается только беднота. А вы поглядите какие здесь кампы! Несколько сот гектаров превосходного пастбища в любом месте можно получить совершенно даром, их даст своей властью хотя бы наш администратор. Таким образом, прокорм скота ничего не будет стоить. А коровы километров за полтора отсюда, ближе к Бразилии, продаются в среднем по 400 пезо. Значит, если у вас найдется на это сорок тысяч, можно купить сто голов, а для начала этого более чем достаточно.

— Да, но когда мы начнем получать с этих голов доход?

— На четвертый год, когда продадите первый трехлетний приплод. Конечно, в течение этих трех лет нужно как-то прожить, но ведь никто вам не мешает на это время обработать клочок земли, который вас прокормит.

— А кому и где можно продать этих коров?

— Их в любом количестве и по твердой цене берет Аргентина для своих хладобоень, это тут налажено отлично. Так вот, предположим: что ежегодно вы продадите половину своих трехлеток, а другую половину оставляете на приплод. Через десяток лет у вас многие тысячи голов скота и вы загребаετε деньги лопатой.

— Но этих тысяч вы уже не прокормите на своем пастбище.

— Конечно нет. Но тут где угодно можно очень недорого арендовать целую эстансию в десять-двадцать тысяч гектаров, надежно огороженную и имеющую все

необходимые загоны и постройки. И когда она вам понадобится, деньги на аренду уже у вас будут. Нет, скотоводство это единственное, на чем тут можно разбогатеть по-настоящему! Вы посмотрите сколько в этих краях таких „эстансиеро“, да порасспросите-ка местных жителей, с чего они начали! Некоторые лет двадцать тому назад не имели и десятка коров, но зато имели на плечах хорошие головы!

Действительно, в это время мы ехали мимо проволочных изгородей необозримо громадных эстансий. То, о чем говорил менонит я уже слышал и раньше от знакомых парагвайцев в Концепсионе. Над этим стоило призадуматься. Прикидывая в уме оставшуюся у нас в кассе наличность, я подсчитал, что мы свободно можем приобрести по двадцать голов скота на каждого члена группы и сверх того хватит денег на организацию небольшого подсобного земледелия. На мой вопрос о пастбище, администратор ответил, что тысячу гектаров кампы, по которой мы едем, он может дать нам своею властью в любом месте. Для начала этого было вполне достаточно.

Проехав верст двадцать пять вдоль опушки леса, мы всюду видели одно и то же: там где на кампе был хоть какой-нибудь родничок или близость подпочвенной воды позволяла вырыть колодец, все было густо заселено, а там, где опушка оставалась незанятой, не было никаких признаков влаги.

Разочарованные, мы пересекли кампу и, приблизившись к реке, тронулись в обратный путь. Вначале и здесь не замечалось ничего пригодного, но наконец, верстах в восьми от Велена, судьба над нами сжалась. Тут, покрытая сочной травой кампа мысом вдавалась в прибрежный лес, переходя в ряд живописных полян, каждая из которых могла служить прекрасным местом для нашего поселка. От последней поляны через лес шла дорожка к берегу, который в этом месте был довольно высок и сверху хорошо было видно как в кристально-прозрачной реке плавали крупные рыбы. У самой воды тут и там высились заросли бамбука: это обеспечивало колонию легким и удобным строительным материалом, да и лес тут был не чета казенным, в нем было сколько угодно высоких и ровных деревьев

негниющих пород. На берегу, у отмели виднелись многочисленные следы тапиров и еще каких-то животных, очевидно они приходили сюда на водопой.

Из разговоров с администратором я выяснил, что этот берег и лес принадлежат здешнему помещику майору Медине, который жил в Концепсионе. Мы его уже знали, так как он, в числе других гостей, приезжал к нам в школу и был одним из наших искренних доброжелателей. И администратор и менонит аттестовали его как хорошего и сердечного человека, с которым не трудно будет поладить насчет берега. Кампа, примыкавшая к его владениям, была свободна и могла быть предоставлена нам. Слева с нею соприкасался казенный лес с хорошим красноземом, на его опушке стояла одинокая чакра с апельсиновым садом, которую хозяин сразу согласился продать за пустяжную цену. На ней был и хороший колодец, глубиной всего в четыре метра.

Дружно придя к заключению, что лучшего места для нашей колонии нельзя себе представить, мы выкупались в реке и под вечер в самом радужном настроении возвратились в Велен.

МЕНОНИТСКИЕ КОЛОНИИ В ЧАКО

После ужина мы, развалившись в парусиновых креслах, отдыхали на балконе менонитского дома. Было нежарко, темно и тихо, только между деревьями сада сновали яркие светлячки, да с кампы долетали ликующие голоса лягушек.

Мы лениво переговаривались о том, о сем, и вскоре разговор зашел о менонитах, поселившихся в Чако.

— А сколько там всего у них колоний? — спросил я у Корнелия Васильевича.

— Тридцать три. Но все они сгруппированы вместе и стоят в двух-трех километрах одна от другой.

— Так что правильнее было бы считать их за одно целое?

— Территориально, пожалуй, да. Ведь это там единственный оазис оседлой жизни и на сотни верст вокруг нет никого, кроме живущих в лесах индейцев.

Но с другой стороны не забудьте, что в Чако есть менониты русские, и есть канадские. И общего у них, кроме веры да немецкой крови, осталось очень мало.

— Почему же произошло такое разделение?

— А вот, послушайте. Секта наша возникла еще в начале XVI века в Голландии, а оттуда перекинулась и в Германию. Но и тут, и там она подвергалась постоянным гонениям, главным образом за то, что наше вероучение отвергает войну, как величайший грех и потому менониты идти на военную службу отказывались. Много им пришлось претерпеть, но в конце XVIII века нашелся выход: русской царице Екатерине II понадобились люди для заселения Новороссии и она предложила принять германских менонитов, оплатить им переселение, наделить землей, на первых порах помочь всем, что потребуется, а главное — предоставить им полную религиозную свободу и навеки освободить от военной службы. Ну, сразу же в Россию выселилось больше трехсот семейств, а потом, когда узнали, что русское правительство крепко блюдет все обещанное, стали ехать и многие другие, так что сто лет спустя менонитов в России насчитывалось уже 60.000 душ, они обрабатывали почти полмиллиона десятин земли и только в южных губерниях имели около двухсот колоний.

Жилось им там привольно и все шло хорошо. Однако, когда император Александр II ввел всеобщую воинскую повинность, стали поговаривать о том, что и нас начнут призывать на военную службу. И хотя это были лишь ложные слухи, многие испугались и около тысячи менонитских семейств переселились в Канаду. Там им тоже дали землю и полную свободу, притом они туда приехали с хорошими деньгами и потому через два-три десятка лет все разбогатели. Лучшего, казалось и желать нельзя, да народ распух от жиру и начал беситься: обиделись старики, что канадское правительство ввело всеобщее начальное обучение и надо было менонитских детей, как и всех других, посылать в казенные школы. Начали протестовать, устраивать всякие демонстрации и скандалы, детей прятали и удерживали силой, будто их не в школу, а на войну гнали, словом вытворяли нивесьть что, а когда все это

не помогло, решили, что в Канаде настало царство антихриста и добрая половина сдуру эмигрировала в Парагвай. А тут, по настоянию фанатиков-стариков, поселились в наихудшем месте, в Чако, только потому, что там нет ни чужих людей, ни школ, ни власти и могут они делать, что хотят.

Ну, здесь им все пришлось начинать сначала и в таких условиях, какие только в дурном сне могут присниться. Сравнить жизнь в Канаде и в Чако — это как небо и земля. Особенно остро это почувствовала молодежь. Конечно, она недовольна, в душе клянет стариков и всеми мыслями рвется обратно в Канаду. А упрямые старики удовлетворены: в Чако они живут по своим законам и никто в их дела не мешается.

— Ну, а как вы, русские менониты, туда попали? — спросил я.

— Да уж, конечно, не по школьному вопросу, у нас дело было похуже. Когда случилась революция, большевики сразу принялись нас раскулачивать и гнать на военную службу: теперь, говорят, царей нет, а мы вам ничего не обещали. Но все же, благодаря немецкому происхождению, в первые годы сталинской власти нам удалось вырваться из Советского Союза. Чего это стоило, расскажу как-нибудь в другой раз. Тысячи нашего брата померли в тюрьмах и в арестантских поездах, прежде чем оставшиеся в живых, изголодавшимися и нищими попали наконец в Германию.

Немцы сами переживали тяжелые времена. Они нас подкормили и приодели, а потом предложили бесплатно отправить в Парагвай. Никто, разумеется, не протестовал: в Европе без денег хозяйства не начнешь, а кроме того, на первых порах после советчины, всякая другая страна раем казалась. Таким вот манером мы здесь и очутились. Нашим старикам советская выучка посбавила фанатизма и на многие вещи они научились смотреть трезво, а о молодежи и говорить нечего. На этой почве наши с канадцами и не сходятся. У нас, например, любят потанцевать и повеселиться, а те считают это грехом и сурово осуждают. Мы, со своей стороны, слушаем их рассказы и диву даемся: есть же такие дураки, которые из-за пустяка, вроде обязательного обучения детей, способны променять Канаду на

Чако! Побывали бы они в нашей шкуре, под отеческой опекой Сталина, — вот там бы поняли что такое настоящие притеснения! Да попробовали бы устраивать голые демонстрации!

— Так что, в Чако канадские менониты держатся в стороне от русских?

— Во всяком случае их колонии сбиты отдельной кучкой, а наши сами по себе.

— А чьих больше?

— Примерно поровну. Ну, живут они, конечно, лучше, так как приехали раньше, да и деньги имели. Оставшиеся в Канаде их до сих пор поддерживают. Нашим пришлось много труднее, хотя „канадцы“ нам все же немного помогли стать на ноги, без того бы не справились.

— Ну, а вас-то, русских менонитов, какая нелегкая в Чако понесла? Ведь тут где угодно можно было поселиться.

— Стадное чувство, хотелось быть вместе со своими. Да и говорили все, что земля там много дешевле.

— Как? Разве вам пришлось за землю платить?

— А как же! Наши народ аккуратный, хотели стать собственниками и землю получить на полных правах, в вечное владение. Вот и пришлось выплачивать по десять долларов за гектар. Это обязательство, да другие кредиты нас там и закабалили, иначе многие давно бы переселились в лучшие места.

— Десять долларов за гектар! Да ведь тут и в нашем районе, и в энкарнасионском земля стоит втрое дешевле!

— По правде и я не пойму как это получилось, и думаю — не сами ли наши старики тут где-то сплеховали, либо дали себя обдурить.

— Ну и в начале вам очень трудно пришлось?

— Да, есть что вспомнить! Самое большое проклятие было с водой. Чако, говорят, когда-то в незапамятные времена было морским дном и вода там почти всюду соленая. Чтобы найти мало-мальски пригодную для питья, иной раз приходилось зря выкапывать несколько колодцев. И первое время ох, как тяжело бывало! Жара адская, целый день работаешь, обливаясь потом, облипнешь грязью, а вечером помыться нельзя.

Да и что о мытье, для питья и пищи воду раздавали по порциям. Иной раз подойдем к колодцу, а там воды на доньшке, ведром зачерпнуть невозможно. Спускается туда на веревке человек, кружкой вычерпывает все до последней капли, а после эту муть стаканами делим...

— И долго так продолжалось?

— Довольно долго. Но в конце концов колодцев накопали достаточно и сейчас в воде недостатка нет. Ну, потом начали строиться. Чтобы колония имела приличный вид, прометили улицы, разбили участки под дворы и распределили по жребию. Дома должны стоять точно в линию, иными словами где пришлось, там и строй — община у нас строгая и поблажки никому не дает. Зато когда построились, приятно было взглянуть, не то, что парагвайская деревня, где все хаты смотрят в разные стороны!

— А во время этой стройки помогали друг другу?

— Ну, а то как же! Народ у нас был дружный и организация хорошая, иначе разве можно было бы справиться? Много было и общественных работ: проводили дороги, строили школу, больницу и прочее. Теперь поглядишь — колония внешне благоустроена. Да и как же иначе? Коли уж выпал жребий вековать в такой дыре, надо было сделать все возможное, чтобы улучшить условия жизни.

— Что же вы там главным образом сеяли? Пшеницу?

— Пробуют ее сеять все время, но хороших результатов пока не получили, того, что родится еле хватает для себя. Однако наши народ упорный и своего добьются, найдут или сами выведут подходящий сорт. А пока главной доходной культурой является хлопок — он растет хорошо. Земля там неплохая, но мало влаги, случаются длинные засухи, да и почвенный слой довольно тонок, а снизу солончаки, и потому многие культурные растения, которые здесь растут превосходно, в Чако никак не идут. Никаких фруктовых деревьев там, например, не вырастишь.

— Ну, хорошо, вот вы говорите — хлопок. Но ведь это штука объемистая, как же его с таких чертовых куличек доставляют на рынок?

— Это дело у наших организовано хорошо. Существует кооператив, который у отдельных хозяев покупает весь урожай и на себя берет транспорт и продажу. Пятьсот километров, до ближайшего речного порта, хлопок везут на грузовиках, а дальше он идет пароходом в Асунсион. Там постоянно живет менонитский представитель, которому община платит жалование, он принимает хлопок и ведет все торговые дела кооператива.

— Толково поставлено! И все идет гладко?

— В основном да, хотя неполадки с представителем иной раз бывают, его дела трудно проверить. Однако без такой организации ничего сделать нельзя: не повезет же каждый хозяин самостоятельно свой урожай за тысячи километров.

— В общем из ваших слов видно, что менониты в Чако все главные трудности преодолели и живут неплохо. И что же, народ теперь своей жизнью доволен?

— Куда там! Довольны или притворяются довольными только самые заядлые старики канадцы. А наши, наоборот, наслушавшись их рассказов, только и бредят Канадой, каждый живет мечтой хоть на старости лет туда выбраться. Да уж очень это трудно. Почти все по горло в долгах, у многих только второе поколение с ними расплатится. А пока есть долги, община не выпускает. И чтобы развязаться, коли станет невтерпех, есть только один выход: оставить все хозяйство и имущество общине, а самому уйти в чем пришел и в другом месте без всяких средств начинать все с начала. Многие так и делают. Вот хотя бы и здесь, в концепсионском районе есть уже немало нашего брата.

МЕНОНИТЫ И ДРУГИЕ ИНОСТРАНЦЫ В ПАРАГВАЕ

То, что рассказывал Корнелий Васильевич о менонитских колониях в Чако, вполне подтверждалось и всеми его единовѣрцами, с которыми мне доводилось встречаться и разговаривать позже. Чтобы сносно наладить свою жизнь в подобных условиях, им пришлось преодолеть ряд совершенно исключительных

трудностей. И выйти победителями из подобной борьбы могли только такие люди, как они: предельно трудолюбивые и энергичные, крепко спаянные, великолепно организованные и, вдобавок, подстегиваемые религиозным фанатизмом.

Их опыт увенчался таким успехом, каким в то время не могла похвастаться ни одна из русских колоний, находившихся в гораздо лучших условиях. И все-таки, несмотря на это, наиболее предприимчивые из Чако бежали, а те, кто не имел смелости или возможности этого сделать, жили мечтой рано или поздно оттуда выбраться. И это вполне понятно, ибо благосостояние и даже богатство теряет смысл, если его обладатель навечно прикреплен к пустыне, где никакие деньги не купят ему ни прохлады, ни реки, ни фруктового сада, вообще ничего, что способно украсить жизнь даже такого человека, которому не нужны ни цивилизация, ни общество.

Желая лучше уяснить себе эту обстановку, я продолжал задавать вопросы Корнелию Васильевичу.

— Ну, а какова там природа?

— Безводные, поросшие кустарником кампы и непроходимый лес. Есть в нем ценные породы деревьев, например, кебрачо и палисандр, но на их порубку и вывоз имеет концессию богатейшая аргентинская компания, которая по-драконовски защищает свои интересы. Во всех речных портах у нее свои таможни и из Чако вам не дадут вывезти даже палисандровую тросточку. Ну, нас-то, местных жителей, да еще в глубине страны, это не касалось и для своих нужд менониты пользуются лесом свободно, только далеко опасаются заходить, ибо заблудиться там ничего не стоит и тогда человеку крышка. Помню, при мне был такой случай: муж с женой пошли вблизи от опушки набрать дров, да и пропали. Трое суток искали их всей колонией, кричали, стреляли в воздух и уже не чаяли найти, да помогли индейцы: отыскали их умирающими от жажды верст за тридцать от того места, где они в лес вошли.

— А от зверей и змей вам много приходилось терпеть? Ведь там, говорят, даже ягуаров полно?

— Ягуаров много, но они живут в глубине леса и

сами предпочитают с человеком не связываться. Мы от них зла не видели. А пумы первое время частенько драли наш скот, но потом их поблизости перестреляли и теперь такие случаи редки. Змеи кое-кого кусали, не без того, но смертных случаев при мне было всего два или три. Это и здесь может с каждым случиться, змей — даже самых ядовитых, и тут хватает.

— Удавы тоже там есть?

— Есть, сколько хотите. Люди тут рассказывают, будто удаву ничего не стоит задушить и съест целого быка, только думаю я, что это сказки. У нас они больше по куриной части старались, да как-то один задал собаку, этого убили, здоровенный был, метров восемь, не меньше.

— А лихорадками и всякими тропическими болезнями там сильно болеют?

— Нет, климат в Чако в общем здоровый. Лихорадок нет, а вот случаи брюшного тифа бывали, должно быть от плохой воды. И с глазами у многих худо.

— Что, трахома?

— Есть и трахома, но у большинства просто хроническое воспаление, вызванное чересчур ярким солнцем. Без темных очков вы там никого не увидите.

— Ну, а как вам-то удалось оттуда выбраться? — после небольшой паузы спросил я.

— Понял я в один прекрасный день, что живу неизвестно для чего и никакой радости не дождусь, ибо только и могу рассчитывать, работая, как вол, к старости расплатиться с долгами. Ну и опустились у меня руки. Пришел в общину и говорю: „Вот, братья, берите мою хату, землю, инвентарь, все, что имею. Это мои долги покрывает, а я ухожу!“ Так и явился сюда без ничего, с женой и с тремя детишками. На первых порах намыкались тут горя и нищеты, пока вот англичанин не оставил мне все это...

— А здесь вы собираетесь прочно пустить корни?

— Ну, едва ли! Конечно, здесь лучше, чем в Чако, но все-таки, разве это жизнь? Ведь тут от одиночества пропасть можно. С этими гуаранийцами у нас только и общего, что на двух ногах ходим. Мне-то еще ничего, я знаю их язык, всюду бываю, встречаюсь иной раз со своими, а посмотрите на жену: она же здесь как

в тюрьме сидит, месяцами не с кем словом по-бабьи перекинуться! Вот и мечтаем с нею всеми правдами и неправдами сколотить достаточно денег, чтобы переселиться в Канаду. Да нелегко это при здешней валюте: ведь тысяча пезо это тут большие деньги, пока их заработаешь десять ведер пота с тебя сойдет, а переехал через границу и эта тысяча — ничто. Ну, да лишь бы добраться, а в Канаде есть у жены два брата, они помогут стать на ноги.

— Значит вы неважно чувствуете себя в парагвайском селе... Ну, а как в общем к вам здесь относятся?

— Первое время бывали неприятности. Народ-то они хороший и мирный, да озорники есть всюду. Сначала мальчишки на улице не давали проходу, кричали „гринго“¹ и другие пакости. По ночам кидали камни на крышу и в окна. Но после прекратили. Конечно, кое с кем обзнакомился, других припугнуть пришлось. Ночью, бывало, выскакивал в сад и для остротки палил в воздух из револьвера, это здесь хорошо на психику действует.

— Ну, а теперь как?

— Теперь ничего. Ко мне привыкли и живу со всеми в мире.

Я лично думаю, что прием, оказанный в Велене Корнелию Васильевичу, объясняется вовсе не озорством, а гораздо более существенными причинами: явившись сюда, он сразу принялся за пропаганду евангелизма, что, конечно, не могло вызвать симпатий со стороны местных жителей — католиков, на религиозный быт которых он покушался. Если подобную деятельность веленцы прощали его предшественнику англичанину, то это понятно: он был хорошим и гуманным врачом, т.е. полезным и нужным членом общества. Вся же общественная деятельность менонита выразилась тут в разрушении домов и продаже железных крыш. Таким образом, он пожинал то, что сеял, но когда утихомирился со своими проповедями, его оставили в покое.

¹Гринго — прозвище североамериканцев, которое обычно распространяют и на европейцев.

— А есть ли в Велене какие-нибудь иностранцы, кроме вас? — спросил я.

— Есть три сирийца. Эти живут здесь давно, занимаются торговлей и по местным понятиям они люди богатые. Кроме них, есть еще один старичок француз.

— А этот что делает?

— Ничего. Живет на пенсию, которую получает из Франции. Прослужил он там двадцать пять либо тридцать лет почтальоном, дали ему пенсию, сто франков в месяц. Там на это и неделю не проживешь, ну а в Парагвае сотня франков большие деньги, почти две тысячи пезо. Вот он и приехал сюда доживать свой век. Купил себе домик, развел кур и живет барином. Да, если хотите, сходим сейчас к нему. Еще не поздно, а он тут почти рядом.

Я немедленно изъявил согласие. Француз сидел на скамейке, возле своего дома и выглядел совсем дряхлым, ему было за восемьдесят. Он приехал сюда с женой, но она вскоре померла и старик прожил тут один около двадцати лет, так что в начале нашей беседы даже плохо справлялся со своим родным языком. Однако через несколько минут разговор у нас налачился.

— Но как же вы тут живете? — недоумевал я. — Ведь все окружающее так непохоже на вашу родину и так непривычно европейцу, что вы, вероятно, нелегко с этим освоились?

— Что поделаешь? Первое время не раз готов был повеситься, но с годами привык. Люди здесь хорошие, не обижают.. Да и какой у меня был выбор? Ведь во Франции с такой пенсией мне оставалось только милостыню просить, а тут у меня свой домик, сад, все что нужно могу купить, живу без тревог и еще чувствую себя богаче других. Солнышко здесь, правда, сильно припекает, но это ничего, даже хорошо для старых костей...

— А как вы там додумались, во Франции, до этого парагвайского выхода?

— Да это у нас, таких вот полунищих пенсионеров, издавна практикуется. Я ведь здесь не один, в этом районе есть еще несколько стариков французов и бельгийцев.

Действительно, я потом кое-кого из них встречал. Все они были привлечены сюда исключительной дешевой жизнью и рассуждали так же, как мой сегодняшний собеседник. Впрочем, стоит особо упомянуть одного старика француза, принадлежавшего к той категории иностранцев, которых в страны, подобные Парагваю, приводит склонность к авантюризму. Он приехал сюда лет сорок тому назад, прошел огонь и воду, несколько раз богател и разорялся, а в настоящее время владел небольшим, но образцово поставленным имением, где работал с четырьмя сыновьями. Этот всегда был весел, жизнерадостен и непоседлив, в своем округе он являлся администратором и его белая, по пояс, борода на сто верст в округности пользовалась величайшим уважением.

Кроме этих иностранцев, в нашей зоне было несколько скотоводов англичан. Это все были богатые люди и держались они очень замкнуто. Один из них, правда, усиленно приглашал меня погостить и поохотиться на ягуаров, но его эстансия находилась за двести километров от нас — расстояние трудно преодолимое, когда, не зная дороги, приходится ехать через тропический лес и безлюдные кампы, к тому же я был постоянно связан своими обязанностями в колонии и мне не удалось воспользоваться этим приглашением.

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Возвратившись через три дня в школу, мы тут узнали, что накануне генерал Беляев получил телеграмму о том, что в Энкарнасион прибывает новая группа колонистов из Европы, и уехал ее принимать.

Экспедиция Керманова успехом не увенчалась. За линией узкоколейки, верстах в тридцати от города, место ему понравилось, но поблизости не было никаких признаков влаги. Правда, кто-то из окрестных жителей в разговоре с ним высказал предположение, что там будет нетрудно докопаться до подпочвенной воды, а потому, возвратившись в школу, Керманов на следующее утро отправил туда четырех человек, вооруженных кирками и лопатами.

тами, с приказанием проверить это обстоятельство и вечером возвратиться.

Было ли это распоряжение сделано просто для очистки совести, или отдавая его наш диктатор был мыслями в Европе, но ни к чему, кроме потери времени, оно привести, разумеется, не могло: за день землекопы при всем усердии не имели возможности вырыть яму глубже трех-четырёх метров, а до подпочвенной воды в этих местах было не менее двенадцати.

Посланные, которые к месту действия отправились на поезде, проходившем в трех километрах от школы, возвратились около полуночи, смертельно усталые, голодные и злые.

— Ну как, докопались до воды? — спросил кто-то.

— Куда к черту! — ответил возглавлявший экспедицию капитан Губанов. — Там сплошная глина, твердая как бетон, да еще во всех направлениях ее пронизывают такие корни, что от них топор отскакивает. За день, работая как звери, врылись в землю всего на два метра, ясно, что на такой глубине воды нет и быть не может! Вдобавок, то ли завхоз дал нам протухшую провизию, то ли она от жары испортилась, словом пришлось выбросить. Неподалеку заметили мы какие-то чакры, отправились туда чтобы купить хоть яиц. Но оказалось, что там никто не понимает ни слова по-испански, говорят только на гуарани. Вот и объясни им чего нам нужно! Но спасибо Криворотова с голодухи осенило: снял он перед одной бабой шляпу, сел на нее и давай кудахтать. Представляете себе курочку? Мы там от хохота чуть дуба не дали. Сидит на шляпе, кудахчет, а у самого морда скучная... Потом скосил на бабу один глаз, голову на бок и „ко-ко-ко“! Ох, будь он неладен! Злой я сейчас как паук, а ей-Богу без смеха вспомнить не могу. Тетка сперва перепугалась, креститься начала, а потом все-таки сообразила, вынесла нам яиц.

— А почему вы так поздно пришли?

— Копали до темноты, ну и опоздали на поезд, перед самым носом ушел. Вот и топали двадцать верст через лес и кампы, да еще с инструментами. На беду ночь безлунная, фонаря ни у кого нет, словом получи-

ли полное удовольствие. Шли по звездам и прямо чудо, что не заблудились.

Таким образом, результаты поездки Керманова сводились к нулю, но так как подходящий участок был найден нами, мне это казалось к лучшему: не придется тратить времени на сопоставления и споры.

Однако, выслушав мой доклад, Керманов не обнаружил никаких признаков удовольствия. Чем больше я распинаялся о выгодах скотоводства и о достоинствах речного участка, тем сильнее топорщились его рыжие усы. В частности, о занятии скотоводством он не хотел и слышать.

— Все это мечты и фантазии, — заявил он. — Скотоводство! Нет уж, давайте без глупостей. Мы приехали сюда как земледельцы, к этому готовились и ничем иным заниматься не будем. А для земледелия ваш участок совершенно не годится!

— Почему не годится? — возражал я. Если уж вам так нравится земледелие, то и для него там условия лучше чем где-либо: есть и казенный лес, и краснозем, и вода. И я не понимаю, что вы находите плохого в том, что, кроме этого, там есть река и прекрасная кампа?

— Прекрасная кампа! Может быть еще цветы благоухают и соловьи поют? Мы сюда приехали не стихи писать, а пахать землю! А что касается реки, то вы же сами говорите, что весь берег принадлежит частному лицу.

— Да, майору Медине. Но с ним насчет этого не трудно будет поладить.

— Это только ваше предположение. А я почти уверен в обратном: Медина богатый человек, а не голодранец-чакаранеро, и ему совершенно нет надобности продавать свою землю за ничего не стоящие деньги.

— Надобности, конечно, нет, но он хороший человек и наш искренний доброжелатель, а потому едва ли откажет. Если вы ничего не имеете против, я сам с ним поговорю и уверен, что дело уладится.

— Великолепно! Вот вы этим и займитесь, а пока не выяснится этот основной вопрос, о вашей участке и толковать не стоит, и мы будем продолжать поиски.

На следующее утро я оседлал коня и отправился на переговоры к Медине. Он принял меня радушно и едва дослушав, сказал, что с удовольствием предоставляет нам право совершенно безвозмездно пользоваться и берегом реки, и прибрежным лесом, и полянами. А когда я поблагодарил и заметил, что мы думаем поселиться там навсегда и потому предпочли бы купить выход к реке, ибо это все равно придется сделать в будущем, он и на это изъявил полное согласие, но пояснил, что его совладельцем является младший брат, который сейчас находится на фронте, и потому сделка может быть оформлена только по его возвращении. За согласие брата майор ручался.

В дальнейшей беседе я навел разговор на наши возможности заняться скотоводством и спросил, что думает по этому поводу майор.

— Конечно, это единственный правильный для вас путь, — ответил он. — Здешнее земледелие ничего вам не даст, кроме удовлетворения самых насущных потребностей, да и то при условии постоянного и тяжелого труда. Скотоводство легче и стократ выгоднее, советую заняться именно этим. И если нужны будут помощь и совет, всегда можете на меня рассчитывать.

Таким образом, все устраивалось отлично, но когда я доложил Керманову о результатах своих переговоров с Мединой, он во всем этом усмотрел сплошной подвох: майор, мол, заманивает нас в ловушку. От немедленной продажи берега он уклонился, сославшись на отсутствие брата, и предлагает пользоваться его землей бесплатно лишь для того, чтобы потом, когда мы там поселимся и окажемся в его руках, ободрать нас как липку или навечно закабалить высокой арендой.

Разоблачив таким образом майора Медину и пригвоздив его к позорному столбу, Керманов снова беспощадно раскритиковал никогда им не виденный веленский участок и заявил, что этот вопрос исчерпан. Однако в группе, которая слышала весь этот разговор, многие склонялись на мою сторону. Диктатору настойчиво советовали съездить туда и осмотреть участок лично, а уж тогда выносить окончательное решение. Пофыркав еще немного, он на это согласился, но добавил, что поедет в Велен позже,

когда будет время, а на ближайшие дни у него каждая минута расписана.

Разведка местности и поиски участка тем временем продолжались. Теперь они производились в гораздо более удаленных районах, и хотя я уже убедился в том, что по существу это бесполезно, ибо Керманов все равно посадит колонию там, где понравится лично ему, все же принимал в этих поисках участие просто из любопытства, в целях ознакомления с краем.

Помню однажды, на заходе солнца я ехал по кампе один и миновав полосу кустарников неожиданно увидел шагах в тридцати от дороги двух пум. Одна из них сидела на задних лапах по-собачьи, другая стояла возле, как бы остолбенев при моем появлении. Окраской и видом она напоминала львицу, но была поменьше и голова ее казалась непропорционально маленькой. При мне был только браунинг, оружие далеко не надежное, чтобы вступать в конфликт с двумя крупными зверями, и пока я раздумывал как поступить, обе пумы пришли в движение и пустились наутек.

В другой раз мы втроем возвращались домой из дальней поездки, покрыв в этот день около сотни верст. Было уже почти темно, когда мы, выехав из леса, свернули на дорогу, по краю которой черным ручейком двигались куда-то полчища муравьев. С полчаса мы ехали параллельно с этой бесконечной колонной, когда я заметил впереди какое-то темное животное, которое вначале принял за собаку. Но оно оказалось муравьедом. Он видимо до того наелся, что еле передвигал ногами, а потому я соскочил с коня и кинулся к нему. Однако, заметив опасность, муравьед свернул с дороги и принялся довольно резво удирать, держа направление на заросли кактусов, видневшиеся поблизости. Я бежал за ним по пятам, стараясь вспомнить — есть ли у муравьедов зубы и прикидывая, чем я рискую, если наброшусь на него. До кактусов оставалось несколько шагов и надо было решаться. Я наддал ходу и схватил его за пушистый хвост. Муравьед яростно зашипел и неожиданно ловко извернувшись, пустил в дело передние лапы, на которых оказались когти в пору медвежьим.

Первым же ударом он почти начисто оторвал мне рукав, но руку, по счастью, только слегка поцарапал. Однако и меня заело: не выпуская хвоста, я напряг все силы (зверь был изрядно тяжел) и поднял его на воздух, так что он повис вниз головой. Все же он пытался царапаться, но получив по морде два-три удара плетью, которая висела у меня на другой руке, счел за лучшее капитулировать.

Мне очень хотелось привезти его живым в школу, до которой оставалось еще километров десять, но как на зло ни у кого из нас не было веревки, чтобы его связать, к тому же лошади от него шарахались, а потому, хорошенько рассмотрев пленника, я отпустил его на свободу.

КРАСНАЯ КАМПА

Прошло уже три недели, мы изъездили сотни километров, но ничего подходящего не нашли. Всюду было примерно одно и то же: если имелась вода или до нее можно было легко докопаться, все вокруг было заселено; а там, где на опушках не виднелось вездесущих парагвайских чакренок, не было воды.

Керманов, почти не слезая с коня, мотался по всему округу, не заглядывая только в веленский район. Наконец, возвратившись однажды из Концепсиона, он вызвал меня и сказал:

— Как видите, Михаил Дмитриевич, до сих пор мы только зря теряли время, и это потому, что действовали почти вслепую. Но сегодня я познакомился в городе с доном Педро Гуджария — родным братом бывшего парагвайского президента. Он из здешних помещиков, но разорился и сейчас занимается скупкой у крестьян хлопка. Знает всю эту местность как собственную ладонь и предложил показать нам действительно хорошие участки. Так что приготовьтесь, завтра на рассвете выезжаем.

Как у Керманова было условлено, утром мы пешком дошли до железной дороги, сели в поезд и проехали на нем верст двадцать, до станции, на которой ожидал нас дон Педро. Это был грузный мужчина лет

пятидесяти, весельчак и балагур. В молодости был он очень богат и, в частности, ему принадлежала вся эта железнодорожная ветка, которую потом откупила казна. Однако и до сих пор к нему тут относились почти как к хозяину и в поездках ни с него, ни с тех, кто его сопровождал, никогда денег не брали. Кажется и грузы его возили бесплатно. Но с годами капризная богиня Фортуна повернулась к дону Педро спиной, а выражаясь менее поэтически, он прокутил все свое состояние и вынужден был на склоне лет заняться скупкой и перепродажей хлопка, проявляя при этом кипучую энергию, совершенно не свойственную парагвайскому характеру: в самую отчаянную жару его можно было ежедневно встретить в лесу или на кампе, где обливаясь потом, но сохраняя обычную жизнерадостность, он с утра до вечера разъезжал верхом от села к селу и от чакры к чакре.

Пока мы пили чай и закусывали, кто-то из подручных дона Педро привел оседланных лошадей и не теряя времени мы выступили в поход. Путь предстоял далекий: предполагалось проехать вглубь района километров семьдесят, заночевать на какой-нибудь чакре, а на следующий день возвратиться другой дорогой.

Ехали мы почти все время лесом, в котором часто попадались естественные и вырубленные поляны с возделанными участками земли.

Кстати замечу, что по официальным данным в Парагвае тогда насчитывалось около одного миллиона жителей. Но на основании всего, что я видел в глухих областях страны, которые считались почти необитаемыми, могу утверждать, что эта цифра далека от истины и в действительности населения тут было гораздо больше. В самых диких уголках сельвы, куда, разумеется, не ступала нога статистика, то и дело можно было натолкнуться на поляну или на искусственную вырубку, дававшую приют нескольким парагвайским семействам, как правило чрезвычайно многодетным.

То же самое мы видели и сегодня. Несмотря на свою привлекательность, плодородную почву и даже наличие воды, эти небольшие островки в лесном океане были пригодны только для одиночных крестьянских хозяйств и не давали простора для поселения це-

лой колонии, без необходимости выкорчевывать сотни гектаров девственного леса.

Мы заезжали на каждую встречную чакру и, благодаря нашему гиду, всюду встречали самый радушный прием. Достойно удивления, как желудки наши могли вместить то невероятное количество терере, которое в этот день каждому пришлось высосать. Впрочем, немало было выпито и каньи. Дон Педро знал тут всех, до последнего человека и для любого чакареро или бабы при встрече сейчас же находил какую-нибудь шутку, иной раз довольно соленую. Мало того, ему было досконально известно чем каждый крестьянин дышит, какое у него количество земли, что он посеял, что хочет продать и сколько у него дочерей на выданьи.

Под вечер, уже изрядно усталые, мы двигались шагком по неширокой лесной прогалине, когда нам перебежало дорогу и сейчас же скрылось в лесу какое-то странное животное, явно кошачьей породы, но величиной со среднюю собаку. Оно было рыжеватого-серого цвета, с очень крупными коричневыми пятнами и окраской не походило ни на ягуара, ни на какого-либо иного зверя из семейства кошачьих. Я было подумал, что мы имеем дело с совершенно новым, неизвестным науке зоологическим видом, но дон Педро рассеял это нескромное предположение:

— Молодая пума, — сказал он. — Они в течение первого года жизни имеют такую окраску, а потом, вырастая, становятся рыжими.

Вся эта экспедиция была очень интересной в познавательном отношении, но нашей основной задачи она не разрешила. Даже Керманов, одержимый желанием утереть мне нос с веленским участком, вынужден был признать, что ничего подходящего для колонии мы не видели.

Правда, одно место нам понравилось. Оно носило название Красной Кампы и действительно, земля под нею была особо красного цвета, словно бы ее посыпали толченым кирпичом самого лучшего качества. Это была обширная, слегка бугристая равнина, поросшая пальмами и корявыми хинными деревьями. Местами на ней росла густая и сочная тра-

ва, из которой тут и там вздымались обелиски огромных муравейников.

Кампа производила приятное впечатление и была особенно живописна вечером, когда над нею, заливая полнеба, полыхало зарево заката, на фоне которого, словно врезанные в этот багрянец, темнели изящные силуэты пальм.

Воды на этой кампе не было, но по всему ее краю тянулась поросшая камышом болотистая низина, шириной примерно в полкилометра и абсолютно непроходимая. Чтобы ее объехать, нам пришлось сделать километров пять. Заканчивалась она небольшой открытой лагуной, с поросшими пальмами берегами, в которой мы не преминули выкупаться. Вода в ней была красновато-желтого цвета и в самом глубоком месте доходила до пояса.

По другую сторону болота шла узкая кромка сухой и выгоревшей на солнце земли, и сразу за нею стояла непроницаемая стена девственного леса. Здесь был небольшой родничок чистой воды и, как водится, вблизи от него вся опушка была облеплена чакрами. На одной из них мы видели колодец, глубиной около пятнадцати метров, вода в нем отдавала болотом, но все же годилась для питья.

Тут можно было бы поселиться, но этому препятствовало одно весьма важное обстоятельство: колония не имела бы никакого пастбища, ибо болото закрывало ей выход на Красную Кампу. К тому же до Концепсиона, единственного рынка сбыта, было отсюда далеко — около пятидесяти километров.

По-видимому, Керманов понимал это так же хорошо, как и я, ибо по возвращении в школу он сразу объявил, что едет со мной осматривать веленский участок. По его личному выбору, нас сопровождало еще три члена группы, из числа безотважно тихих, всегда и во всем соглашающихся с начальством.

Как я и думал, на этом злополучном участке диктатор обнаружил сплошные недостатки и ни одного достоинства: и земля тут была скверная, и вода невкусная, и лес никуда не годный, и кампа отвратительная и еще нивесть что. „Тихие“ глубокомысленно поддакивали полковнику, а я,

видя что спорить бесполезно, тоже вскоре замолчал.

Окончательно убедившись в том, что все наши поиски по существу бессмысленны и что судьбу колонии будет решать один Керманов, в дальнейшем я от них всячески уклонялся. Диктатор еще куда-то ездил, что-то смотрел, с кем-то переговаривался и наконец, недели через полторы, собрав группу объявил, что место для колонии найдено и через несколько дней будет официально оформлена покупка трех смежных чакр на выбранной им опушке, к которым нам присоединят 1200 гектаров казенной земли.

Из его доклада выяснилось, что ничего нового он не нашел, а просто решил посадить колонию возле Красной Кампы, на том самом участке, который я описал выше.

— А выход на кампу вы нашли? — осведомился я.

— Он нам вовсе не нужен, — отрезал Керманов. — В обход болота там до Красной Кампы каких-нибудь три километра, это же такие пустышки, о которых и говорить не стоит!

Говорить действительно не стоило, ибо это ничего бы не изменило, однако в силу этих „пустышков“ наша колония оказалась без пастбища и живя на лоне природы, мы вынуждены были кормить свой скот покупным сеном и кукурузой.

Для соблюдения внешних приличий, на следующий день диктатор взял с собою несколько человек из числа бессловесно покорных и поехал показывать им свою находку. Как и следовало ожидать, по возвращении все они в один голос утверждали, что лучшего места для колонии нельзя себе и представить. Остальным до того надоела эта длившаяся больше месяца канитель, что никто спорить не стал.

Не возражал и я. У меня с первых же дней сложилась твердая уверенность в том, что нам надо сделать ставку на скотоводство, для которого этот край был максимально благоприятным, тогда как земледелие тут было сопряжено с каторжным трудом и не обещало ничего, кроме возможности не помереть от голода. Я выбрал веленский участок и на нем настаивал в надежде на то, что рано или поздно это поймет и Керма-

нов, и мы еще сможем переключиться на скотоводство. Но поелику стало очевидным, что Керманов своих позиций не сдаст и будет упорно цепляться за земледелие, в успех которого я не верил, оспаривать его выбор не имело никакого смысла, да это ни к чему бы и не привело.

Через несколько дней за 57.000 пезо (130 долларов) были куплены три выбранные диктатором чакры. В общей сложности они включали тридцать гектаров очищенной от леса и обработанной земли, на которой уже имелись различные посадки и посевы. Было там и несколько построек, точнее говоря, крытых осокою навесов, под которыми, по расчетам Керманова, мы на первое время могли бы разместиться. Казенный надел, который нам к этому добавляли, представлял собою широкую полосу девственного леса, примыкавшего к купленным чакрам.

Итак, жребий был брошен. Два дня спустя мы покинули школу и напутствуемые лучшими пожеланиями ее персонала, отправились в лес, на новоселье.

Конец первой части.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КОЛОНИЯ «НАДЕЖДА»



НА НОВОСЕЛЬЕ

Линия узкоколейки, идущая из Концепсиона в глубину лесов, по официальным данным проходила в пяти километрах от приобретенных нами участков. Может быть так оно и было „по птичьему полету“, но на местности наш путь, идущий через девственную сельву, удлинялся почти вдвое.

Утром, едва рассвело, весь наш багаж и большую часть людей на волах перевезли из школы к железной дороге, погрузили в поезд и высадили в дремучем лесу, возле убогой лачужки, исполнявшей обязанности железнодорожной станции. Отсюда, — снова на волах, которые вместе с телегами, были заблаговременно наняты у окрестных жителей, — предстояло пробиваться через лес к месту нашего поселения. Когда-то тут существовала дорога, но по ней давно никто не ездил, она заросла матерым бурьяном выше человеческого роста и заплелась лианами, так что впереди телег должен был идти целый отряд „пехоты“, топорами и мачете расчищая путь. В силу этого, выступив со станции часов в десять утра, только к вечеру наш караван добрался до цели.

Я к этому времени уже обзавелся верховым конем и потому не поехал поездом, а избрал иной, более длинный путь, проселочными дорогами через село Велен и Красную Кампу, но все же прибыл на место за несколько часов до других.

Тут уже находилось пять наших квартирьеров, выехавших на два дня раньше, чтобы организовать воловий транспорт и подготовить все, что нужно к приезду группы. Снисходя к моему вполне понятному любо-

пытству, один из них тотчас вызвался показать мне наши новые владения.

В смысле эстетическом и они, и окружающая их местность производили приятное впечатление. Купленные нами чакры были расположены на пологом косогоре и их территория в совокупности представляла собой вырубленную в лесу подковообразную поляну, диаметром немного больше километра. Таким образом, с трех сторон ее окружал девственный лес, который на несколько километров в глубину, до самой железной дороги, тоже был отдан нам в качестве казенного надела. Он был до того густ, что тут не требовалось даже изгороди, ибо пробиться сквозь него было несравненно труднее, чем одолеть любое искусственное заграждение.

Четвертой, открытой стороной, огороженной пятью рядами колючей проволоки, наши угодья выходили к болоту, от которого их отделяла узкая, метров тридцать шириной, поляна, с остатками травы, выгоревшей на солнце и до корней выщипанной соседскими коровами. За болотом виднелась поросшая пальмами Красная Кампа, куда по кромке поляны вела круглая и почти непроходимая дорога, местами покрытая глубокой грязью и никогда не высыхающими лужами. В трехстах шагах от наших ворот, на этой поляне имелся родник питьевой воды, которым, кроме нас, пользовались обитатели пяти парагвайских чакр, приютившихся на той же опушке.

Что касается жилых помещений, то соответственно трем купленным чакрам, они располагались тремя отдельными группами, примерно в полукилometре одна от другой. Позже их соединили удобной внутренней дорогой, а сейчас они, окруженные темной зеленью апельсиновых и мандариновых деревьев, выглядели живописными оазисами, вокруг которых узорчато рассыпались наши плантации, с кое-где возвышающимися над ними перистыми пальмами.

Верхняя усадьба, если только тут применим этот термин, стояла у самой вершины „подковы“. Здесь была наиболее плодородная земля и прежние хозяева посеяли на ней гектаров десять кукурузы, два гектара земляных орехов, полгектара табака и примерно

столько же бананов. Средняя приютилась чуть ниже по косогору. Ее плантации включали около восьми гектаров хлопка, два гектара сахарного тростника и немного маниоки. Нижняя стояла совсем близко от болота. Построек здесь было больше всего, но почва содержала изрядную примесь песка и потому наши предшественники посадили тут неприхотливую маниоку (которой у нас в общей сложности было гектаров восемь) и довольно много арбузов.

Таким образом, доставшиеся нам культуры занимали приблизительно гектаров тридцать, но в промежутках между ними имелись и пустыри, заросшие дремучим бурьяном и пальмами. Приведя их в порядок можно было освободить под посевы еще пять-шесть гектаров очищенной от леса земли. В наследство от предыдущих владельцев мы получили также дюжины свиней и несколько десятков кур.

К концу моего осмотра подъехал наш обоз, пробившийся наконец через лесные дебри. По распоряжению Керманова, семейным надлежало занять нижнюю чакру, средняя была отведена холостым корниловцам, а на верхнюю отправили всех остальных холостяков. Обитатели этой чакры почему-то сочли себя обиженными таким распределением, хотя они располагали гораздо большей „жилплощадью“ и разместились удобней, чем другие. Не взирая на это, многие тут надулись и бурчали, что у нас расцветает фаворитизм и что средняя чакра, где поселился и сам диктатор, пользуется какими-то таинственными привилегиями. Таким образом, сразу же возникли некоторые антагонизмы, которые в дальнейшем дали свои плоды. Однако, как будет видно дальше, в смысле расквартирования хуже всего пришлоось семейным.

Несколько дней спустя, Кермановым была составлена „Информация № 1“, которую он разослал в различные русские центры и газеты. После описания всех сделанных нами приобретений, она гласила:

„Все посадки и посевы находятся в отличном состоянии. Хлопок уже можно снимать. Маниоку употребляем в пищу и на прокорм скота. Кукуруза тоже почти поспела. Земляные орехи дадут нам много превосходного растительного масла, а сахарный тростник —

патоки, на которую тут существует большой спрос. По утверждениям местных сельскохозяйственных экспертов, сбором и продажей этого урожая мы окупим все расходы по покупке трех приобретенных чакр и сверх того будем обеспечены пропитанием на год. В доставшихся нам помещениях, хотя и тесновато, по бивачному, разместились все. Как только управимся с работами по устройству, приступим к постройке большого и удобного кирпичного или глинобитного дома“.

„Окружающее население встретило нас приветливо. Парагвайцы народ хороший и каждый готов помочь советом. Свою колонию мы назвали „Надеждой“, ибо надеемся, что наш общий труд даст хорошие результаты и послужит базой для широкой колонизации Парагвая нашими братьями — русскими“.

Насколько оправдались все эти надежды и само название нашей колонии, читатель увидит из дальнейшего. Однако преувеличенный оптимизм этой информации был очевиден с самого начала. Так, например, почти все находившиеся в „отличном состоянии“ плантации изрядно заросли сорняками и нуждались в основательном пропалывании. Поспевающую кукурузу пожирали черви, ее надо было срочно убрать, а помещения для этого не было. Хлопок подпортили дожди, и было ясно, что на первосортную вату мы рассчитывать не можем. Из нескольких сот наших цитрусовых деревьев плоды были только на трех, остальные стояли пустыми и это было тем более непонятно и странно, что во всех окрестных садах деревья буквально ломились от фруктов. Подобных обстоятельств было немало, а кроме того, из разговоров с соседями, сразу же определилось, что в силу удаленности от рынков сбыта, продать свой урожай (за исключением хлопка, который скупщики брали на месте) будет весьма нелегко. И потому многим не без оснований казалось, что от нашей „Надежды“ с первых же дней повеяло безнадежностью.

Для курьеза, параллельно с информацией, приведу выдержки из шуточного „Приказа по гарнизону“, тогда же написанного нашими доморощенными остряками:

„§ 1. Объявляю для всеобщего сведения, что период исканий закончен. Обетованная земля найдена и если она оказалась красной, мы должны оставаться белыми и да не будет тому помехой наш колхозный строй. Всех чинов гарнизона прошу осознать, что начинается оседлый период их жизни: оседланы будут все, без каких-либо исключений. Нас ждет бесконечный праздник труда, недра парагвайского краснозема призывно открывают нам свои плодородные объятия. Вся Европа следит за результатами нашего опыта. — Генерал Беляев с нами, генерал Миллер¹ за нами, генерал Эрн не за горами, победа обеспечена!

§ 2. Приступая к новой жизни, мы надеемся, что наш общий труд, если не нам, то кому-нибудь все же пойдет на пользу. Кроме того надеемся, что к тому времени, когда черви доедят нашу кукурузу, а дожди окончательно испортят хлопок, будет выстроен сарай соответствующего назначения. Надеемся, что у нашего скота со временем вырастут крылья и он сможет перелетать из колонии на пока недоступное ему пастбище. Надеемся и на то, что по мере остывания Земли, неумеренный парагвайский климат станет более умеренным. И еще на многое мы надеемся, а потому колонию нашу надлежит именовать „Надеждой“.

Приобретенные нами имения назвать:

верхнее — „Убийцы“,

среднее — „Лавочки“,

нижнее — „Собачья Радость“.

Следует пояснить, что дало повод к такому наименованию нижней чакры: здесь помещались хозяйственная часть, кухня и столовая колонии, а потому это место сразу же сделалось средоточием всех окрестных собак, которым хозяева, как и другим домашним животным, предоставляли самим заботиться о своем пропитании.

¹Генерал Миллер в те годы был начальником Русского Обще-Воинского Союза, членами которого все мы являлись.

„СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ“

Похаживая вокруг незатейливых строений „Собачьей Радости“, группа семейных, с написанной на лицах покорностью судьбе и диктатору, разглядывала свои новые квартиры. Их вид, пожалуй, не вызывал бы особого восторга даже у белаяевских индейцев.

В пятидесяти шагах от края унылого, заросшего камышом и осокой болота, на песчаной площадке, вплотную прижавшись друг к другу, стояли три жилых помещения. Первое из них представляло собой квадратный навес с соломенной крышей. Один его угол был огорожен стенами из плетня, обмазанного глиной, образуя небольшую комнатку, вернее кладовку без окон. Остальная часть с двух сторон была совершенно открытой, а с двух других — имела „стены“, состоявшие из вбитых в землю кривых и корявых кольев, между любой их парой свободно можно было просунуть руку. Пола, конечно, не было вообще и ступня тут по щиколотку уходила в песок, истолченный в мелкую пыль ногами прежних обитателей.

К этому чертогу, на расстоянии метра, парагвайские адонирамы прилепили другой, такой же длины, но более узкий. Тут стен не было вообще и навес был гостеприимно открыт непогоде со всех четырех сторон, только справа его слегка прикрывала первая постройка, а слева, лишь до середины, „клетка“, пристроенная сбоку на таком же расстоянии и имеющая три метра в длину и столько же в ширину. Эту хоромину я называю клеткой, ибо за исключением проема служившего входом, она была огорожена вбитыми в землю кольями, отстоящими друг от друга сантиметров на десять.

За клеткой расстилался поросший бурьяном и пальмами пустырь, а за ним поле маниоки. С одной стороны возле самых построек, в беспорядке росло десятка два апельсиновых деревьев, а с другой, шагах в тридцати, вздымалась зеленая стена леса.

Недели через две Керманов распорядился выстроить на пустыре курятники и свинушник, ко всем прочим прелестям нашей жизни добавивший густую вонь, которая становилась непереносимой при попутном ветре, получившем у нас название „свиного зефира“. Бли-

же к лесу построили большой навес для общей столовой и другой, поменьше, для кухни и хлебопекарни. Однако все это появилось позже, а в первый день диктатор ограничился тем, что приказал единственного имеющего стены помещения, т.е. угловой комнатушки, не занимать, так как туда будут складываться съестные продукты. Все остальное пространство, сомнительно защищенное от непогоды только сверху, в общей сложности составляло площадь около пятидесяти квадратных метров, на которых предстояло разместиться восьми семействам, в совокупности насчитывающим двадцать человек.

Задача была не из легких и прежде чем приступить к ее разрешению, публика долго сидела во дворе, на багажных ящиках, покуривая и перекидываясь не относящимися к делу замечаниями. Время шло и надо было на что-нибудь решаться, ибо до темноты оставалось не больше двух часов, а небо, к тому же, затягивалось тучами и следовало ожидать дождя.

— Ну, ладно, господа, — сказал я наконец, — давайте все же распределяться. Если кто-нибудь уже облюбовал в душе ту или иную квартиру, пусть выскажется откровенно и возражений, надо полагать, не последует. Лично мне все предоставленные нам апартаменты кажутся одинаково уютными и я без ненужных рыданий и слез согласен занять любой из них.

Все остальные были настроены точно также и никаких предложений не последовало. К счастью в это время захныкал младший член коллектива, двухлетняя Олечка, и это сдвинуло дело с мертвой точки: быстро и единодушно было решено большой навес, с двух сторон защищенный частоколом, который при помощи глины нетрудно было обратить в стены, предоставить семействам Раппов и Миловидовых, каждое из которых включало четырех человек и имело в своем составе маленьких детей.

Моему трехчленному семейству в порыве общего великодушия предложили клетку. На это я резонно возразил, что остающиеся пять семей втиснуться под один средний навес никак не смогут, если даже каждый похудеет вдвое.

После долгих и сложных расчетов, было наконец найдено единственное возможное решение: в клетку определили две семейные пары и, сверх того, приехавшую с нами барышню Любашу, позже ставшую женой моего приятеля Флейшера. Когда там установили три кровати, большую квадратную корзину, служившую столом и прочий багаж, в промежутках можно было протискиваться только бочком.

Трем остальным семьям достался средний навес. Барьерами из чемоданов и занавесками из простыней его размежевали на три равных части, приблизительно по шесть квадратных метров каждая. В центральном отделении поместили чету Воробьяниных, ибо прекрасная половина этой семьи, которую все мы называли тетей Женей, была боязлива и опасалась, что с открытого конца навеса ее без всякой помехи ночью может вытащить ягуар или удав. Полная и невыносимо страдавшая от парагвайской жары жена капитана Шашина по каким-то метеорологическим соображениям выразила желание занять со своим супругом восточную оконечность навеса. Я галантно щелкнул шпорами и стал устраиваться на западной.

Едва под навесами началось движение, откуда-то из темного угла лихо выскочил черный паук-птицеед, размерами с чайное блюдце, на мгновение замер, ошарашенный таким наплывом народа, а потом стремглав кинулся под кучу сложенных тут же вещей. Дамы дружно завизжали, кое-кто из мужей занялся охотой на паука, а я погрузился в мрачные размышления.

Было совершенно очевидно, что это лишь „первая ласточка“ и что как в соломенной крыше навеса, так и вокруг, ютится множество всевозможной опасной дряни. Огромных сколопендр, скорпионов, тарантулов и еще несколько сортов ядовитых пауков я уже неоднократно видел в этом районе и раньше. В змеях тоже не было недостатка.

Кроватей наших еще не привезли из школы, а располагаться прямо на песчаном полу, в котором копошилась всякая насекомая мелочь, при таких обстоятельствах было рискованно. Припомним некоторые полезные сведения, почерпнутые в детстве из сочинений Майн Рида, я вооружился мачете и, нарубив большой

ворох пальмовых листьев, смастерил из них пышное ложе, высотой в добрый аршин. Когда сверху жена расстелила несколько одеял и простыню, а все это сооружение мы увенчали куполом тюлевого москитника, который можно было подоткнуть со всех сторон, получилось довольно удобное и вполне надежное убежище.

Нашу семилетнюю дочь пришлось подвесить в гамаке над большим сундуком, который я приспособил на двух чурбаках, в виде стола. Разумеется, без посторонней помощи девочка не могла ни взобраться на свое ложе, ни слезть оттуда, а потому в ближайшие дни я соорудил ей внизу маленький, по росту, тапчан, ибо вторая кровать в наших апартаментах не помещалась.

Окрыленный первыми успехами на поприще культурных завоеваний, я вырубил несколько кольев, принес новый ворох пальмовых листьев, каждый из которых достигает в длину двух-трех метров, и за какие-нибудь полчаса заплел ими наружную сторону своего навеса. С двух сторон он был до некоторой степени защищен соседними постройками, а внутреннюю стену олицетворяла простынная занавеска, отделявшая нас от логовища Воробьяниных.

Кое-как, — по потребности и в зависимости от способностей, — устроились и соседи. Думаю, что по части уплотненности наши квартиры могли бы претендовать на панамериканский рекорд, как, впрочем, и по отсутствию удобства.

В самый разгар нашей возни пришел диктатор и убедившись, что все мы втиснулись под крыши, удовлетворенно крякнул. Жилищную проблему он, очевидно, счел разрешенной вполне успешно и с этого момента о запроектированной постройке „большого и удобного кирпичного дома“ или каких-либо иных жилых помещений вспоминал все реже, и все более сердито топорщил свои усы, когда ему об этом напоминали. Осознав безнадежность подобных напоминаний, постепенно и мы забыли обо всех этих иллюзорных планах и на тех же „квартирах“, с той же степенью комфорта, все прожили до самого развала колонии.

Управившись с делами по новоселью и предостыв жене наводить там уют, я устроил коня под ближай-

шим деревом, задал ему корму и отправился посмотреть, что делается на холостяцких чакрах.

„Лавочки“ тоже не могли похвастаться особым люксом. Их усадьба состояла из одного, совершенно открытого со всех сторон навеса, под которым на багажных ящиках и на самодельных койках расположились десять иерархически молодых офицеров. Здесь тоже было тесно, но все же не до такой степени, как у семейных. Чуть в стороне лепился еще один, маленький навес, сзади и с боков имевший плетенные из ветвей и обмазанные глиной стены. Его разгородили пополам и с одной стороны поместился казначей колонии, полковник Прокопович со своими ящиками и книгами, а с другой сам диктатор. Да не подумает читатель, что он утопал в роскоши: походная койка, с повешенной над ней двухстволкой, маленький письменный стол, прихваченный из Европы, и толстый чурбан вместо стула, составляли всю обстановку его резиденции.

Эта чакра выглядела гораздо уютней других, ибо тут жилища стояли в гуще высоких citrusовых деревьев, тенистых и ласкающих глаз своей глянцевою зеленью. Под их покровом, на некотором расстоянии от жилых навесов, с одной стороны была устроена конюшня, а с другой впоследствии выстроили особый навес для слесарной и столярной мастерской. Тут же потом соорудили и баню.

„Убийцы“ располагали двумя открытыми навесами и разместились просторней чем все остальные. Здесь под крышей помещался даже большой стол, за которым могли сидеть, попивая чай или строя письма в Европу, человек восемь одновременно — роскошь, совершенно недоступная ни нам, ни „лавочникам“.

Чакра стояла на бугре и потому тут чаще ощущался ветерок, спасительный в дни летнего зноя. Возле нее росло несколько больших деревьев, а дальше, до самого леса, тянулось поле кукурузы, такой густой и высокой, что она сразу с головой поглощала въехавшего в нее всадника.

В дальнейшем здесь устроили стеллажи для просушки земляных орехов и специальный навес для хра-

нения продуктов урожая. Позже, когда у нас появился первый и единственный тяжело больной, один угол этого навеса превратили в „лазарет“, т.е. огородили глинобитными стенами в виде небольшой комнаты.

Кстати замечу, что этого больного (капитана И.Ф. Грушкина) спасти не удалось. Он приехал в Парагвай с туберкулезом легких в начальной стадии, здесь болезнь быстро и резко обострилась, его отправили в госпиталь, в Асунсион, где он вскоре и умер.

СТРАШНАЯ НОЧЬ

К концу моего обхода начал накрапывать дождь и я поспешил домой. В сумерках, уже переходивших в ночную тьму, „Собачья Радость“ выглядела привлекательнее, чем днем, и развернувшаяся передо мной картина казалась иллюстрацией к какому-то роману Жюль Верна, а может быть подсознание даже находило в ней нечто общее с давно пережитым, если не мною самим, то отдаленными предками-кочевниками, память о чем сохранил какой-то таинственный ген, дошедший до меня из глубины тысячелетий в силу законов атавизма.

Возле среднего навеса пылал костер, над которым висел на треноге объемистый чайник; обнаженный до пояса усатый и лохматый капитан Миловидов подбрасывал в огонь сухие сучья; тут же на бревне сидели три или четыре женщины, одна из них укачивала на руках засыпающего ребенка. Сзади, на фоне вызолоченной огнем опушки леса, мелькали тени, очевидно кто-то собирал там дрова, а на переднем плане старенький и бородатый завхоз, полковник Рапп, с видом патриарха раздавал группе полуголых мужчин порции привезенной менонитом колбасы, на ужин и на утро.

Из „клетки“ слышались голоса, там кто-то невидимый жаловался, что стало темно как у негра в желудке, а на все восемь семейств хозяйственная часть отпустила один единственный керосиновый фонарь. Впрочем, пока в нем не ощущалось особой надобности, так как начавшийся было дождь прекратился и все население чакры сосредоточилось у костра.

Выпив горячего чаю и закусив колбасой, мы часика пол поболтали, делясь впечатлениями дня, а затем принялись укладываться в постели, передавая друг другу фонарь.

В ожидании своей очереди, мы с женой подошли к воротам. Над болотом дрожал золотой фейерверк светлячков и все оно, от края до края, звучало голосами многотысячного лягушиного хора. Тут были и звонкие сопрано и мягкие бархатные контральто, и могучие, ухающие как из пустой бочки басы. Временами в общую довольно стройную симфонию, резким диссонансом врывается бравурная рулада, видимо от всей лягушачьей души, но невпопад запущенная каким-то болотным дилетантом. Изредка, воскрешая в памяти легенды об упырях, из трясины слышался жалобный и жуткий плач ребенка. Сходство было до того полным, что первое время некоторые из нас порывались лезть в болото, спасти „тонущее дитя“. Ой! Ой-ой! Ой-ой-ой! — глухим человеческим голосом вопил в осоке другой земноводный шутник.

Теплая тропическая ночь так любовно обнимала эту безмятежную землю, еще не опакощенную ни фабрикантом, ни расовыми и классовыми распрями, ни законами, урезающими чье-либо право на труд и на место под солнцем, что душа до краев наполнялась давно забытыми чувствами тишины и умиротворения. Почти физически ощущалось, как скрученные постоянной европейской напряженностью нервы теперь приходят в свое нормальное состояние. И разум начинал оправдывать и приезд сюда, и безрассудную нашу авантюру. За это спокойствие, за этот душевный мир, разве не стоило заплатить отказом от цивилизации от связанных с нею жизненных удобств?

— Каратеевы, ваша очередь на фонарь, не задерживайте! — раздался в это время чей-то крик, сразу возвративший мои мысли к реальности.

Раздевшись, я залез под москитник и с наслаждением вытянулся на мягком пальмовом ложе. Фонарь еще у нас не забрали и можно было перед сном окинуть взором ближайшие окрестности.

За нашим изголовьем, в клетке, вплотную к ее стене, стояла импровизированная постель супругов Анд-

реевых — нас разделяло расстояние немного более метра. С другой стороны, под соседним навесом, в трех шагах мостился на ящиках Миловидов. От тети Жени и ее супруга меня отделяла только тонкая перегородка из поставленных торчком чемоданов и повешенная над ними занавеска. Если бы мне взбрела в голову игривая мысль — пощекотать свою соседку по квартире, я мог бы это сделать не трогаясь с места, лишь вытянув руку.

Вокруг стоявшего на сундуке фонаря клубился рой бабочек, жуков и иных насекомых. Привлеченные этим изобилием, внизу, у постели тяжело плюхали белыми животами громадные жабы. Метко выбрасывая длинные липкие языки, они без промаха наклеивали на них добычу.

Наверху, по поддерживающим крышу стропилам, совершенно не стесняясь присутствием людей, озабоченно сновали крысы. Иногда, в чем-то не поладив, они вступали над нашими головами в драку, поднимая такой гвалт и писк, что некоторые начинали на них орать и шикать, мешая спать тем, у кого нервы были крепче.

— Старый! Как можно такое! — услышал я, засыпая, хнычущий голос тети Жени, обращавшейся к мужу. Она была полькой и по-русски говорила не совсем правильно. — Слушай, старый! Я боюсь...

— Спи, спи, чего там, — проямлил спросонья Воробьянин.

— Как я могу спать, когда тут столько этих крысов! Придумай что-нибудь, старый! Если крыса упадет мне на голову, я же умру!

Погрузившись в объятия сна, я уже не слышал что ответил и что придумал „старый“. Надо полагать, ничего, так как в скором времени вся чакра была разбужена диким воем. Не соображая в чем дело, я привскочил на ходившей ходуном постели. В царящей под навесом могильной темноте, совсем рядом кто-то откалывал чечетку, неистово вопил и сокрушал пограничные чемоданы.

— Что тут происходит? — крикнул я, вытаскивая из-под подушки наган.

— Тетю Женю лопают пума, — высказали предположение из клетки.

Однако произошла вещь гораздо более простая, неоднократно случавшаяся потом и с другими: на задремавшую тетю Женю обрушился целый клубок подравшихся крыс. Пострадавшую отпоили водой, крыс общими силами разогнали и через несколько минут аврал закончился. Засыпая, я снова слышал:

— Видишь, старый черт, я тебе говорила, что-нибудь придумай! Жену крысы съедают, а он спит как боров! У, чтоб ты скис!

— Бу, бу, бу, — успокоительно бубнил в ответ „старый“.

Долго ли я спал, не знаю, но проснулся снова от какого-то замогильного воя, идущего теперь откуда-то снизу. Поблизости кто-то чиркал зажигалкой, шуршал бумагой и тихо, но негодующе бормотал.

— Кто это тут воет? — раздался сбоку сонный голос Воробьянина, свидетельствующий что тетя Женя на этот раз ни при чем.

— Проклятый кот спер у меня колбасу и еще кричит, эдакая сволочь! — ответил из темноты густой бас Миловидова.

Нашу колбасу, предназначенную на завтрак, я оставил в мисочке, на сундуке, накрыв ее тарелкой и сверху положил довольно тяжелый камень в уверенности, что крысы его не сдвинут. Но кот иное дело. Высунув руку из-под москитника, я пошарил по сундуку и с грустью убедился, что там осталась только пустая мисочка. Машинально я ее поднял и сейчас же с проклятиями бросил на землю: она была до такой степени облеплена муравьями, что казалась живой.

Нужно сказать, что этот неизвестно откуда появившийся кот, сделался подлинным бичем нашей жизни: совершенно не интересуясь крысами, или боясь с ними связываться, он артистически находил и поедал то у одного, то у другого спрятанную на утро еду. Только месяц спустя его удалось поймать в специально приготовленную ловушку и ликвидировать.

Однако в эту ночь кот благополучно ограбил всех, кого хотел, и наевшись до отвала отправился восвояси. Наступившую наконец тишину нарушал только душе-

раздирающий храп мадам Шашиной, но к этому явлению мы уже имели время привыкнуть в школе и потому над „Собачьей Радостью“ вновь воцарился безмятежный и вполне коллективный сон.

— Марго... Марго! Капает! — услышал я, просыпаясь, взволнованный голос Шашина. — Вот черт-те драк! Марго! Течет!

Богатырский храп на восточной стороне навеса оборвался и его сменило продолжительное плямканье. Я прислушался: дождь шел уже во-всю и через минуту царящая вокруг темнота наполнилась оханьями дам и проклятиями мужчин.

Большой навес не протекал, очевидно именно там жили наши предшественники, и потому у Раппов и у Миловидовых все обстояло более или менее благополучно, лишь кое-кому пришлось отодвинуть свои постели от края. Зато клетку дождь прохлестывал почти насквозь и при частых вспышках молний было видно, как ее обитатели белыми привидениями двигались вдоль своего частокола, распиная на нем одеяла, плащи и иное подручное тряпье.

У нас было хуже всего. Над Воробьяниными крыша протекала в нескольких местах, но по счастливой случайности на них самих не текло и потому „старый“, придя в отличное настроение и не слушая причитаний тети Жени, устроился поудобней и принялся подавать советы соседям. На постель Шашиных хлестало, как из пожарной кишки, и тщетно они ее таскали из стороны в сторону в поисках какого-либо непромокаемого места под крышей.

Что касается моего аппарата, вначале дело ограничивалось лишь легкой капелью в одном, по счастью ничем не занятом углу, а благодаря сделанному мною плетню, дождь не забивал и снаружи. Умиротворенно подумав, что жизнь в Парагвае не так уж плоха, если самому не плошать, я собирался снова заснуть, как вдруг поток холодной воды хлынул нам с женой на ноги. Сорвавшись с места, я при помощи электрического фонарика сразу обнаружил причину катастрофы: скат соседней крыши обрывался в полуметре от края постели и едва солома намокла, каскады воды потекли на наше пальмовое ложе, заливая его

почти до половины. На следующий день я подвесил между крышами железный жолоб, который в дальнейшем отводил дождевые хляби в сторону. Но в эту богатую приключениями ночь нам с женой оставалось только свернуться калачиками на той половине постели, куда не достигал водопад.

Ливень, между тем, хлестал с нарастающей силой и вскоре пол нашего навеса, который оказался немного ниже других, превратился в озеро: вода текла на него со всех сторон.

Меня это новое бедствие не застало врасплох, ибо в предвидении такой возможности я еще с вечера поставил все наши вещи на довольно высокие подставки. Но радужному настроению Воробьянина пришел внезапный конец: наскоро навалив свое уплывающее имущество на постели, ему и Шашину пришлось вылезать наружу и под проливным дождем окапываться отводной канавой.

Наученные этим горьким опытом, в ближайшие дни мы произвели в своих жилищах все доступные нам реформы: залатали крыши, повысили уровень полов, окопали свою жилплощадь канавами, стены под большим навесом обмазали глиной, а обитатели клетки и Шашины, по моему примеру, загородились пальмовыми плетнями.

УМЕРЕННЫЙ УКРАИНСКИЙ КЛИМАТ

Дел, и притом самых насущных, не терпящих отлагательства, над нами с первого же дня нависла целая уйма.

Прежде всего, надо было рыть колодцы, так как воды в роднике хронически нехватало и первое время ее у нас, как было и у менонитов в Чако, раздавали по порциям, да и то лишь для питья, а для умывания каждый должен был добывать ее сам, кто где мог.

Нужно было также рубить в лесу деревья и готовить строительные материалы для всевозможных хозяйственных построек, соорудить печь для выпечки хлеба, предварительно самим же сделав для нее кирпичи, построить столовую, кухню, курятник, свинар-

ник и загон для скота, пропалывать все плантации, собирать портившийся хлопок, подготовить поле для огорода, починить во многих местах изгородь, проложить внутреннюю дорогу между чакрами, привести в порядок лесную, ведущую к железнодорожной станции, и совершить еще великое множество более мелких, но столь же необходимых работ.

В колонии было тридцать два мужчины, но заниматься всем этим могли далеко не все. Керманов вел общее руководство и был поглощен хозяйственно-административными делами; полковники Рапп и Прокопович, не столько в силу своих „чиновничьих“ обязанностей, сколько по старости и инвалидности, в расчет тоже не шли; поручик Яцевич был мастер на все руки и потому его завалили специальной работой: целые дни он пилил, строгал, ковал, клепал и чинил все в чем являлась надобность. Капитан Богданов был занят исключительно огородом, с которым, при недостатке воды и избытке всевозможных вредителей, управиться было нелегко; корнет Щедрин был конюхом, а поручик Колесников „быкадором“: они должны были заботиться о лошадях и волах, заготавливать им корм, возить на них всевозможные хозяйственные материалы и грузы, доставлять в колонию воду и т.п. Кто-нибудь один ежедневно назначался „кухонным мужиком“ и обслуживал кухню.

Помимо этого существовали: секретарь колонии, он же переводчик и „чиновник для особых поручений“, шорник (по совместительству и сапожник) и фельдшер. Эти трое, хотя и выходили в поле и в лес на общих основаниях, нередко должны были отвлекаться для исполнения своих специальных обязанностей. Кроме того, всегда находился кто-либо поранившийся на работе или временно выведенный из строя акклиматизационными болезнями, укусами насекомых и т.п., следовательно в общественных работах регулярно и ежедневно принимало участие не больше двадцати двух человек.

Работали, притом очень самоотверженно, и дамы: они готовили на всех еду, мыли посуду, обстирывали и обшивали всю колонию и сверх того нередко выходили на уборку хлопка и на другие легкие полевые работы.

На те или иные отрасли работ Керманов назначал наряд с вечера. При этом обычно принималось во внимание — кто к какой работе был подготовлен своей прошлой практикой или же успел в ней поднатореть уже на месте. Таким образом, более или менее постоянный состав назначался на полевые работы, на рубку леса и на постройки.

Курьезной и вместе с тем весьма показательной оказалась судьба молодого Раппа, сына нашего завхоза. Перед самым отъездом в Парагвай, он окончил в Бельгии агрономический факультет, и хотя не имел практики, все же в вопросах сельского хозяйства смыслил гораздо больше, чем все другие. Керманов назначил его шорником. Агроном, флегматичный парень, только пожал плечами и принялся чинить наши сапоги, седла и сбруи, в свободное от этих занятий время выходя на рубку леса. За весь год диктатор ни разу не применил его по специальности и даже не обратился за каким-нибудь советом.

День в колонии проходил так: в четыре часа утра, когда на небе едва намечались первые признаки рассвета, из своего логовища появлялся заспанный Шашин с сигнальной трубой в руке, взбирался на ближайший пригорок и мирно дремавшие окрестности оглашались пронзительными звуками „подъема“.

Да не подумает читатель, что трубные сигналы, возвещавшие у нас побудку, начало и конец работы, обед и ужин, являлись следствием чрезмерной приверженности к милитаризму. Просто эта система оказалась в нашем положении весьма удобной: чакры стояли далеко друг от друга, работать тоже иногда приходилось в изрядном отдалении и в разных местах, часов при себе почти никто не имел, а сигнал был хорошо слышен всюду; таким образом все могли координировать свои действия и вовремя являться куда надо.

Заслышав подъем, все выползали из-под своих москитников, вытряхивали одежду и тщательно выколачивали палками сапоги, в которые любили забираться пауки, скорпионы и даже жабы, затем одевались и пили чай с какой-нибудь выданной с вечера закуской. В половине пятого раздавался второй сигнал и, вооружившись соответствующими инструментами, каждый

отправлялся к месту своего назначения, согласно наряду, прочитанному за ужином Кермановым.

Первые два часа работы были сравнительно легкими и приятными, это было самое прохладное время суток. В шесть всходило солнце и через полчаса уже начинала ощущаться жара. Еще через полчаса пот лил со всех водопадами. Европейцу не понять, что значит парагвайское потение: с человека бегут ручьи, в сапогах хлюпает, одежда мокра до последнего атома, на работе мы ее снимали и отжимали как только к тому представлялась возможность.

Парагвайцы на солнцепеке всегда закрывали шею и верхние позвонки черными платками, утверждая, что пренебрегающие этой предосторожностью рискуют параличем. В нашей группе, за исключением одного-двух человек, этого никто не делал, но без рубах некоторые боялись работать и, по-видимому, совершенно напрасно: никто из нас от действия тропического солнца не пострадал и даже не загорал до такой степени, как можно было загореть на любом европейском пляже, очевидно, этому препятствовал обильно лившийся пот. Лично я, подобно многим другим, с утра до вечера работал в поле в одних трусиках и надевал шаровары и рубаху только в случае назначения в лес — туда внедряться без „защитительного покрова“ было невымыслимо.

После десяти часов пекло уже так, что работу приходилось прекращать. Весной перерыв у нас делался от одиннадцати до двух, а летом „сиесту“ пришлось расширить на час в каждую сторону. Но и после трех, до самого захода солнца, почти не становилось прохладнее.

В летнее время температура в тени держалась обычно на 40—42°C, но нередко бывало и больше. На солнце мы ее, к сожалению, не могли измерить за отсутствием подходящих термометров. Мой, например, был рассчитан на 55°C, да сверх шкалы в трубочке оставалось свободного пространства градуса на три. Когда в полуденную пору я выставлял его на солнце, ртуть мгновенно заполняла трубочку до отказа и я спешил убрать термометр, пока он не лопнул.

Таким образом, днем на солнцепеке бывало, надо полагать, градусов шестьдесят, может быть и больше, а работать чаще всего приходилось на совершенно открытой местности. Впрочем, в лесу в эту пору бывало еще хуже: там стояла жара удручающе влажная, по сравнению с которой парниковая казалась Божьей благодатью, не говоря уж о тучах весьма бодро настроенных комаров, которые на кампе в такой зной заметно сдавали и вели себя довольно сдержанно.

В шесть часов заходило солнце, озарив на прощание землю огнями заката невиданной в Европе красоты. Весь небосвод, почти до восточного горизонта, пылал всеми оттенками багрянца, постепенно меняя цвета от золотисто-розового до фиолетового. Работу в это время приходилось кончать, так как ночь наступала по тропически быстро. Все взапуски устремлялись к родникам, колодцам и лужам, чтобы помыться (наиболее расторопным доставалось больше воды), и эти моменты были, пожалуй, самыми приятными в нашей жизни.

В половине восьмого подавался сигнал на ужин. Насытившись, мизантропы расходились по чакрам, а более общительные задерживались на часок в столовой, чтобы поболтать о том, о сем или послушать граммофон при свете керосинового фонаря и костров, которые раскладывались вокруг, чтобы хоть отчасти разогнать комаров.

Наша столовая, т.е. навес под которым стояли столы и скамейки, случайно оказалась расположенной очень удачно: через нее всегда тянул легкий сквознячок и жара тут не так ощущалась. Но первый месяц, пока шла заготовка материалов и постройка этой столовой и кухни, дамы готовили на кострах, а обедали мы тут же, на открытой лужайке. Было выкопано две параллельных канавы, на внешние края которых садились люди, свесив ноги вниз, а столом служила невыбранная полоса земли между этими канавами. И в ту пору, особенно днем, когда сверху пекло тропическое солнце, мы, разумеется, „за столами“ долго не заживались.

После захода солнца жара спадала, но все же не настолько, чтобы можно было высохнуть. Это станови-

лось возможным только с конца марта, после пятимесячного непрерывного и круглосуточного потения. В летнее время температура по ночам падала до 33—34 градусов, и сон, особенно на матрасе и подушке, полного отдыха не приносил: все это насквозь пропитывалось потом, действуя на тело как согревающий компресс, и потому многие предпочитали спать на парагвайских, плетенных из ремней койках или в гамаках.

Зато зимнее полугодие (апрель—сентябрь) обычно знаменуется в Парагвае отличной погодой, теплой, но не жаркой, с прохладными ночами. Иногда и днем бывают резкие колебания температуры, и когда она внезапно опускается градусов до двадцати, привыкшие к жаре люди начинают мерзнуть и кутаться в теплое. Комары и москиты в эту пору тоже исчезают, так что можно в полной мере наслаждаться жизнью и природой, отдыхая от всех летних тягот.

В смысле атмосферных осадков на Парагвай жаловаться нельзя. Продолжительные засухи тут бывают редко, а дожди, как правило, идут с промежутками в неделю-полторы (зимою чаще, чем летом) и обычно сопровождаются страшными тропическими грозами. Молнии непрерывно пересекают небо во всех направлениях и отдельных раскатов грома вы не различаете, они сливаются в сплошной грохот и гул, который длится иногда несколько часов, не прекращаясь ни на секунду.

Во всем этом, вопреки уверениям колонизаторов, сходства с Украиной довольно мало. Но климат здесь здоровый. Ни малярии, ни лихорадок, ни иных свойственных тропикам болезней нет, и даже грипп или простуда тут явления гораздо более редкие, чем в Европе.

Следует, однако, отметить влияние жары на психику. Обычно людьми, приезжающими сюда из умеренного климата, овладевает несвойственная им прежде апатия и вялость, все валится из рук, любую, даже самую незначительную работу, особенно умственную, хочется отложить „на потом“, и иной раз требуется большое усилие воли, чтобы взять себя в руки. Вероятно

все это тоже относится к явлениям акклиматизации, но многие остаются как бы выбитыми из колеи надолго, а некоторые навсегда. И во всяком случае темпы работы, как физической, так и умственной, тут не могут идти в сравнение с европейскими.

РОДНИКИ И КОЛОДЦЫ

С нашим приездом в небольшом роднике, который обслуживал всю окрестность, воды стало постоянно не хватать. Чтобы запастись ею в количестве, необходимом хотя бы для питья и приготовления пищи, наш водовоз Щедрин должен был ежедневно совершать несколько поездок на кампу, преимущественно по ночам, когда воды в источнике бывало больше.

Пока купленные нами полудикие лошади не привыкли к упряжке, это было нелегким делом, и редкая бочка без приключений доезжала до кухни. Многострадальное тело водовоза, вылетавшее из повозки, бывало во всех попутных зарослях кактусов и не раз, запутавшись в вожжах, моталось по кампе, увлекаемое взбесившимися лошадьми.

Шагах в ста от семейной чакры, на маленькой полянке в лесу, имелся второй источник, сортом похуже. Он представлял собой ямку глубиной сантиметров в тридцать и диаметром около метра. Вода в нем имела привкус болота и была мутновата, но для Парагвая не так уж плоха, и некоторые соседи даже пользовались ею для приготовления пищи. Сбоку, чуть ниже, была в земле выемка гораздо больших размеров, в нее стекала вода из первой. Она заросла травой и походила на большую лужу, которая служила водопоем для нашего скота. Таким образом, этот источник тоже приносил нам большую пользу, увы, до того рокового дня, когда Керманову вздумалось „привести его в христианский вид“.

Для этой цели родниковую ямку приказано было углубить метра на полтора и укрепить деревянным срубом; нижнюю, сточную впадину надлежало вычистить, немного расширить и углубить настолько, чтобы там можно было мыться после работы и полоскать

белье. Осуществление этой задачи было поручено Миловидову, который умел плотничать, а в помощь ему назначили Флейшера и меня.

Рассчитав количество балок для сруба, мы вооружились топорами и отправились в лес. Здесь росло множество всевозможных деревьев, но ни одного сколько-нибудь нам знакомого не было.

— Черт его знает, что рубить? — задумчиво промолвил Миловидов, окидывая взором всю эту тропическую благодать. — На вид все деревья хороши, а вот угадай, какое будет в воде вонять, а какое нет. Ведь далеко не всякое годится для такого сруба.

— Еще, глядишь, попадется ядовитое, так всю колонию отравим, — добавил Флейшер. — Вам, химикам, случайно на этот счет ничего не говорили в университете?

К сожалению, насчет колодезных срубов и парагвайских деревьев я из университета никаких познаний не вынес. Оставалось действовать вслепую. Свалив несколько различных деревьев, мы распилили их на части, ободрали и долго приноживались.

— Я бы сказал, что для бедного родника запах мало благоприятный у всех, — констатировал Флейшер.

— Давайте, ребята, лучше спросим у диктатора, как быть, — предложил Миловидов.

— Конечно, он сам в этих деревьях ни хрена не смыслит, но, по крайней мере, не на нашей совести грех будет.

Совет был принят без возражений и мы отправились к Керманову. Выслушав нас, он почесал за ухом и ответил:

— У нас в России колодцы, кажется, дубом облицовывали. Здесь его нет и надо пробовать что-нибудь другое. Берите на всякий случай такие деревья, в которых поменьше соку и ставьте не теряя времени сруб. В крайности вода повоняет несколько дней, а потом обойдется.

В соответствии с этими указаниями, мы заготовили балки для сруба, снесли их к роднику и приступили к его углублению. Под верхним слоем песка лежал толстый пласт перегноя, в который мы вкопались на заданную глубину. Затем поста-

вили сруб и разделали, как было приказано, нижнюю впадину.

— Ну, кажись испортили родник по всем правилам искусства, — промолвил Миловидов, наблюдая как сруб наполняется грязной водой с каким-то подозрительным фиолетовым отливом. — Надо полагать, что впредь из него и свинья пить не захочет!

Увы, шутка оказалась вещей. На следующее утро, отправившись к источнику, я уже шагов за двадцать почувствовал, что дело неладно: в лесу стояла тошнотворная зловещая вонь, явно исходившая из сруба. Вода в нем была чернильного цвета и пенилась, как шампанское. Узнав о беде, Керманов не пал духом.

— Вынимайте к дьяволу ваш сруб, — распорядился он, — и обшейте яму сосновыми досками от наших багажных ящиков!

Приказание было исполнено, но это помогло очень мало. Очевидно дело было не в одном срубе — не следовало тревожить и лежавший под верхним слоем песка лесной перегной. Долгое время мимо этого места проходили отплеываясь и зажимая нос. Родник казался безнадежно испорченным и прошло несколько месяцев, пока вонь уменьшилась настолько, что эту воду снова начал пить скот и в нижней впадине можно было без особого отвращения помыться.

Покончив с родником, мы принялись за колодцы. По совету соседей-парагвайцев для определения мест, где подпочвенная вода была ближе, Керманов пригласил специального знахаря. Явившись в колонию, последний вырезал гибкий прут, согнул его дугой и зажав концы в плотно прижатых к животу кулаках, отправился бродить по нашим владениям. Дугу он держал параллельно земле, но в некоторых местах она начинала приподниматься вверх, а иногда принимала почти вертикальное положение — здесь, по словам „колдуна“, вода была ближе всего. Часа через два он точно наметил направление водяной жилы и на каждой чакре указал место, где следует рыть колодец, даже сказал, на какой глубине появится вода.

Признаюсь, подобно многим другим, я не сомневался, что все это чистое шарлатанство. Однако, когда

в каждом из вырытых колодцев вода оказалась точно на указанной глубине, пришлось переменить мнение. Впоследствии я имел несколько случаев убедиться в том, что подобные водоискатели почти никогда не ошибаются и что в Парагвае мало кто обходится без их помощи. Знаю случай, когда один парагваец пожалел пятисот пезо, которые брал за свои услуги знахарь, и решил действовать самостоятельно. Выбрав место, он вкопался в землю на 28 метров и воды не нашел, тогда как у всех его соседей колодцы были не глубже пятнадцати.

Видел я и другой способ: знахарь пользовался не прутом, а отвесом. Там, где вода была ближе, грузик начинал раскачиваться. По амплитуде и интенсивности его колебаний, водоискатель определял глубину и богатство жилы, и даже говорил, в какой степени вода будет пригодна для питья.

Конечно, это искусство дается далеко не всякому — очевидно, надо обладать особой чувствительностью к влаге, которой нет у простых смертных. Многие из наших тотчас начали упражняться с прутом и почти все уверяли, что у них тоже „получается“. Однако копать колодцы для проверки таких утверждений ни у кого не было ни охоты, ни возможности и потому наши домашние водоискательные таланты остались непризнанными.

Боясь рисковать своими людьми, неопытными в этом деле, для рытья двух верхних колодцев Керманов нанял компанию парагвайцев, а за нижний взялся Корнелий Васильевич. Любо было посмотреть, как он работал: не успели парагвайцы углубиться в землю на два метра, как его колодец был уже вырыт. Глубина его, как и было предсказано, не превышала десяти метров, воды было много, но на вкус она была значительно хуже родниковой, однако для приготовления пищи и домашних надобностей годилась.

Чтобы снова не испортить дело срубом, Керманов на этот раз догадался расспросить соседей, каким деревом тут крепят колодцы, и выяснилось, что в нашем лесу такового почти нет. При помощи менонита, толстые доски из нужного материала были куплены в Ве-

лене и ими мы обшили этот единственный благополучно сделанный колодец.

Оба других, за сдельную плату, одновременно принялись копать шестеро парагвайцев. Через несколько дней из них остались только двое. Когда мы осведомились, куда девались остальные, они с трагическим выражением лиц сообщили, что у одного тяжело заболела мать, у другого жена, у третьего еще кто-то, а четвертый сам заболел.

Оставшиеся сосредоточили свои силы на колодце „Лавочников“ и углубившись в землю метров на шесть, попросили аванс. Керманов дал. После этого в течение целой недели рабочие не появлялись, потом пришел один. Второго, оказывается, тоже внезапно постигло какое-то ужасное несчастье. Последнему, которого судьба пока щадила, мы дали в помощь одного из наших и он, с большими перерывами, то приходя, то на несколько дней исчезая, на глубине двенадцати метров дошел до воды и снова попросил аванс. На это раз Керманов отказал. Парагваец не настаивал, но после этого исчез уже окончательно и бесповоротно.

Собственными силами мы закончили этот колодец, углубив его еще метра на полтора. К общей радости, вода в нем оказалась отличного качества, но доски для крепления, заказанные в Велене, еще не были готовы и колодец начал помаленьку осыпаться.

— Ну-с, инженер, — обратился ко мне однажды Керманов, — думаю я склепать несколько цилиндров из листового железа, которое есть в нашей мастерской, и опустить эти цилиндры в колодец. Как по-вашему, будет держать, пока придут доски, или нет?

— Вы это всерьез, или шутите? — спросил я.

— Какие там шутки! Надо же спасать колодец.

— С таким же успехом его можно спасать и простым картоном. Сопротивление этих материалов обвалу будет примерно одинаковым.

— Сопротивление материалов! Здорово запущено! А что же прикажете делать, если этих самых материалов нет? Переучились вы, батенька, в своем университете! Ну, а я вам докажу, что русская смекалка стоит не

меньше, чем ваша наука. Обложу железом и увидите как будет держать!

— Воля ваша. На то вы над нами и поставлены, чтобы мы за вас Богу молились.

В тот же день идея диктатора была претворена в жизнь. На следующий все обстояло благополучно и при встречах со мной он отпускал веселые шуточки, а на третий стенки колодца рухнули так, что он почти доверху оказался засыпанным землей.

Откапывать его обычным порядком было невозможно: мешало смявшееся и исковерканное железо. В течение двух месяцев там ежедневно работало два-три человека, чуть ли не руками выбирая землю и специальными ножницами по кусочку вырезая освободившуюся жуть. Наконец последствия диктаторской смекалки были ликвидированы, колодец укрепили досчатым срубом и он вступил в строй.

Впоследствии, по мысли Керманова, вместо обычного ворота к нему добавили особое, довольно сложное приспособление, мало себя оправдавшее и стоившее колонии очень дорого. Оно состояло из системы цепей, желобов, блоков и двух специально выкованных тяжелых ведер, одно из которых автоматически опускалось в колодец, когда наверх поднимали другое. „Кустарным“ способом доставать воду было несравненно легче и вся эта механика в дальнейшем служила главным образом для показа посетителям в качестве одного из наших культурных достижений.

Ввиду того, что эти два колодца давали в общем достаточно воды для нужд колонии, третий, начатый парагвайцами, решено было закончить после, когда будет больше свободного времени. Он помаленьку обвалился, зарос бурьяном и о нем навсегда забыли.

НАШИ СОСЕДИ-ПАРАГВАЙЦЫ

Колония Надежда — по-испански Эсперанса — находилась приблизительно на равном расстоянии от двух больших парагвайских селений — Велена и Оркеты. И если все глубины этого лесного района были

почти необитаемы, то на опушках тут сидело довольно много народу.

Фактически на протяжении всего сорокапятиверстного пути между этими селами, идущего по границе кампы и леса, тянулась цепочка чакр. В некоторых местах, где с водой было лучше, они стояли гуще, образуя какие-то подобия центров, а в промежутках были рассыпаны по две-три на километр. Но многие приютились и в стороне от этой оси, у боковых опушек и перелесков.

В административном отношении вся эта полоса делилась на три волости, и та, к которой была приписана наша колония, носила гуаранийское название Пегуа-Хосу; что это значит, я уже позабыл. Во главе каждой волости стоял староста или, как его здесь называют, администратор. Всего этого мы в начале не знали, а так как наше Пегуа-Хосу состояло из нескольких десятков чакр, разбросанных на площади в полтораста квадратных километров, о личности и местожительстве своего администратора не имели ни малейшего представления. Это в скором времени вызвало инцидент, повлекший довольно неприятные последствия, впрочем не для нас, а для администратора.

По случаю Рождества, мы решили устроить в колонии праздник, на которой пригласили всех соседей-парагвайцев. Вместо елки вырубил красивую пальму, водрузили ее на тенистой площадке возле средней чакры, убрали самодельными украшениями; затем тут же, на импровизированной эстраде поставили несколько комических сценок, спел наш хор, сыграл оркестр, потом гостей приветствовали каньей и скромным угощением, после чего начались танцы, благо среди приглашенных было много девушек, с которыми наши кавалеры отплясывали польку.

Крестьяне-парагвайцы были в полном восторге. Все шло очень весело и чинно, когда в ворота въехал какой-то незнакомый всадник.

— Что это за сборище? — спросил он. Ему объяснили в чем дело.

— Немедленно разойтись! — распорядился посетитель, который оказался нашим администратором. — Я

очень сожалею, коронель¹, — обратился он к Керманову, — но во время войны все подобные сходки допустимы только с особого разрешения властей. Вы, живущие здесь, конечно, можете праздновать, но всех посторонних я вынужден удалить.

Было ясно, что мы сделали промах, не послав отдельного приглашения администратору. Теперь он счел себя обиженным и встал на строго официальную платформу. Все попытки Керманова уладить дело миром остались безуспешными, а когда начал возражать один из парагвайцев, староста съездил его по физиономии плетью. Всех наших гостей он прогнал.

Возмущенный Керманов на следующий день отправился в Концепсион к губернатору. В результате этой поездки администратор был вызван в город и после жестокого нагоняя смещен с должности. На его место назначили очень симпатичного крестьянина, жившего в семи верстах от нас и с ним мы всегда были в наилучших отношениях. Этот случай всем наглядно показал, что „коронель русо“ шишка гораздо более важная, чем любой администратор, и впредь с местными властями все у нас шло гладко. Да никогда не бывало и поводов к каким-либо шероховатостям.

Что касается взаимоотношений с ближайшими соседями, тут трудно было желать чего-либо лучшего. Мы относились к ним как к равным, не пренебрегали их компанией, старались не нарушать их традиций и не задевать слабых струн, и нам платили всеобщим уважением, приветливостью и услужливостью. Не раз в обществе этих простых людей — бесхитростных, доброжелательных и обладающих удивительным врожденным тактом — я отдыхал душой после различных неприятностей, интриг, завистничества и мелочных распрей, случавшихся в нашей собственной среде. Парагваец-гуарани как-то инстинктивно чувствует „где у вас болит“, и в разговоре он никогда неприятной вам темы не коснется. Он безукоризненно вежлив и деликатен, тут совершенно немислимо услышать что-либо вроде сакраментального вопроса „почему вы не уезжае-

¹Коронель — полковник.

те к себе в Россию“, который на каждом шагу задавали нам во всех странах Европы.

В укреплении к нам общих симпатий крупную роль сыграла незначительная случайность: наши плантации с одной стороны не были отгорожены от соседских, и в один из первых дней, когда мы еще не знали точно своих границ, группа, назначенная на прополку, по ошибке прополочила чужое поле земляных орехов. На следующий день к Керманову явилась пожилая парагвайка, сказала, что поле принадлежит ей, она только сейчас обнаружила происшедшее недоразумение и готова нам уплатить за сделанную работу, так как муж ее убит на войне и ей все равно пришлось бы нанимать рабочих.

— Никакого недоразумения тут нет, сеньора, — не моргнув глазом ответил Керманов, — мы прекрасно знали, что поле ваше. Но знали также о вашем вдовстве и потому решили по-соседски помочь. И, конечно, никаких денег с вас не возьмем.

Растроганная женщина благодарила со слезами на глазах. Этот случай с быстротой телеграфа стал известен всей округе и расположил к нам все сердца. В дальнейшем у нас с соседями никогда не бывало никаких трений, не было ни одного случая воровства, дамы наши свободно, без провожатых, могли разгуливать в лесу и на кампе, а во всех надобностях нам всегда охотно шли навстречу и старались помочь. И если русские колонисты других районов жаловались на недоброжелательное отношение соседей-парагвайцев и на всякие обиды и неприятности, то, без сомнения, в этом виноваты они сами. Некоторые группы, приехавшие в район Энкарнасиона и быстро разбежавшиеся, прославились своей заносчивостью и пьяными скандалами, они восстали против себя местных жителей и это, конечно, отразилось на отношении ко всем русским колонистам того края.

В повседневной жизни парагваец кажется несколько вялым и апатичным, но ошибаются те, кто аттестует его как принципиального лодыря, который предпочитает жить в самых примитивных условиях, только бы не работать. Большинство наших соседей были трудолюбивы и чакры свои держали в полном порядке, а

что касается условий жизни — они к ним привыкли и считают их вполне нормальными.

Однако следует оговориться: так обстоит дело только в отношении своего собственного хозяйства. Нанимаясь же на работу, парагваец действительно ленив и непостоянен, история с нашими колодцами служит тому хорошим примером. Но и здесь, я думаю, в основе лежит не простая лень, а более глубокая психологическая причина: привыкшего к воле человека, в котором еще много осталось от кочевника, гнетет сознание связанности и зависимости от работодателя. За такую работу он берется только в случае самой крайней необходимости и при первой, часто лишь кажущейся, возможности ее бросает. Но чем бы ни объяснять это явление, в Парагвае очень трудно найти хороших и тем более постоянных рабочих. И общее благосостояние страны от этого, конечно, не выигрывает.

Типичный парагваец приятен лицом (многие даже красивые), роста среднего, сух и мускулист. Женщины черноволосы, черноглазы и смуглы, черты лица у большинства правильны, фигуры идеальны. Большой процент подлинно красивых, но эта красота однообразна, европейцу все они первое время кажутся похожими друг на друга, как сестры. Как и мужчины, с детских лет все курят и притом (в провинции) исключительно сигары, которые в каждой крестьянской семье заготавливают из собственного табака. И по-началу это обстоятельство весьма шокировало наших кавалеров. Помню, как мой приятель Оссовский, большой поклонник прекрасного пола, однажды возмущался:

— Иду, понимаешь, по кампе и вижу: едет навстречу верхом молодая бабенка, хорошенькая до одури, сложена как богиня, я прямо рот разинул! Но в зубах у красавицы торчит проклятая сигара! Мало того, увидев меня, она вынула ее изо рта, всунула между пальцами босой ноги, чтобы не мешала, смачно, как верблюду, сплюнула в сторону, а потом принялась поправлять волосы и охорашиваться. Сразу весь аппетит отбила!

Как следствие огромного недохвата мужчин, о причинах которого я уже говорил, парагвайские нравы приобрели некоторые оригинальные особен-

ности и тут вошла в обычай своеобразная форма многоженства. Ни правительство, ни церковь, насколько я заметил, никакой борьбы с этим явлением не вели, ибо при таком положении оно было неизбежно и стране, в конечном счете, выгодно.

Разумеется, это не значит, что парагвайцы обзаводились гаремами. Но многие, помимо своей официальной, венчаной жены, имели одну или несколько неофициальных. Все эти жены жили в разных местах, но о существовании друг друга прекрасно знали и в силу необходимости с таким положением мирились. Общий муж распределял между ними свое время, от каждой жены имел обычно кучу детей, точного количества и имен которых иной раз толком не знал или не помнил, но заботился о них одинаково, в меру своих средств и возможностей. Так, например, у одного из парагвайских президентов того времени было больше трехсот сыновей, которых он с отеческой любовью пристроил на видные места во всех отраслях военной и гражданской службы.

Дети от таких побочных браков в Парагвае пользуются всеми правами законных и в их положении ни общество, ни они сами ничего зазорного не видят. Девушку, имевшую ребенка, никто тут этим не попрекал и даже наоборот, относились к ней с уважением. Парагвайки отличные, заботливые матери и многие из них, наплодив детей от случайных связей, тяжелым трудом содержали семью и как-то умудрялись всех поставить на ноги.

Оригинален, между прочим, парагвайский способ ношения детей: отправляясь куда-нибудь и имея при себе ребенка, не способного еще к самостоятельному передвижению, мать сажает его верхом на свое бедро, сбоку. Парагвайчата с самого нежного возраста так привыкают к этому способу езды, что шенкелями владеют в совершенстве и руками за мамашу почти не держатся.

Почти рядом с нами находилась чакра очень сим-

патичного крестьянина, дон Грегорио¹, человека еще не старого, но многодетного. Он побывал в армии, дослужился до сержанта, был очень неглуп и отлично говорил по-испански. Я частенько навещался к нему после работы, послушать его рассказы и поупражняться в языке. Как водится, во время этих разговоров мы выпивали по стаканчику каньи, а потом без конца сосали терере, которое обычно нам сервировала одна из трех дочерей хозяина. Все они были красивые девушки, особенно средняя, Анита, и я часто исподволь любовался ею, а однажды, когда мы немного подвыпили, не столько от наплыва чувств, сколько желая сделать собеседнику приятное, сказал:

— Какая красавица ваша Анита, дон Грегорио, от нее прямо глаза оторвать трудно.

— Анита вам нравится, дон Мигель? — ответил польщенный отец. — Так берите ее себе! Она добрая девушка и будет вам верной подругой.

— Так я же женат, — пробормотал я, ошарашенный таким предложением.

— Ну и что тут такого? Я тоже женат, а у меня есть и вторая семья. Можно поселить Аниту в Велене, у моих родственников, будете туда к ней ездить, когда захотите. Жалко девочку, ведь ей все равно иной доли нет, а вы человек хороший.

— Что же ей жизнь-то портить! Ведь я все равно тут долго не останусь.

— Если далеко уедете, вернется ко мне, и только. Бог даст к тому времени и ребенка родит, вот и будет счастлива.

Грустно было слушать эти простые, но страшные по своему внутреннему содержанию слова, за которыми скрывалась трагедия девушки и боль отца за ее судьбу. Со всей возможной деликатностью я замаял этот разговор. Дон Грегорио его тоже не возобновлял, но было заметно, что мой отказ удивил и огорчил его.

¹В Южной Америке приставка „дон“ не означает, как в Испании, благородного происхождения, а скорее носит оттенок фамильярности, как русское „дядя“.

ЗМЕИ И НАСЕКОМЫЕ

Едва мы приступили к работе, что на наше несчастье совпало с наступлением самой сильной жары, у всех начали появляться акклиматизационные заболевания. Но в этом судьба оказалась к нам довольно милостивой: желудками и внутренними болезнями никто не страдал и дело ограничилось только накожными явлениями.

В ту пору достаточно было малейшего укула или царапины, чтобы на этом месте образовался нарыв. Впрочем, часто они возникали и сами по себе, без всяких внешних повреждений. Едва заживал один, рядом появлялся другой, потом третий и т.д. Некоторые покрывались невыносимо чесавшейся сыпью, у других под кожей, наподобие червяка, переползала с места на место какая-то красная припухлость, тоже сильно зудевшая, у третьих на руках и ногах образовались пузыри, вроде ожогов. У детей ноги покрывались болячками, переходившими в открытые язвы. Никакому лечению все это не поддавалось, а несколько месяцев спустя само прошло.

Правда, старожилы, начиная с генерала Беляева, дали нам множество самых разнообразных и даже противоречивых советов, как избежать недомоганий или свести их на минимум. Лично я не придерживался ни одного из них и от акклиматизации пострадал меньше всех — дело ограничилось двумя-тремя нарывами.

С первых же дней на нас надели и знаменитые парагвайские „пики“. Это крошечный черный паразит, раз в пять меньше обыкновенной блохи, живущий в земле, особенно в пыльной. Но чтобы произвести потомство, самка вгрызается под кожу к человеку или животному, обволакивается там тонкой пленкой и откладывает яички. В начале вы ничего не чувствуете и не замечаете, но дня через два это место начинает зудеть и под кожей появляется шарик величиной с дробицу, который еще через два-три дня достигает размера горошины. Дальше оставлять ее без внимания опасно: опухоль растет, углубляется в тело, ногу начинает ломить и вырезать пику в этой стадии уже трудно и

мучительно. Но в начале операция очень проста: кожу сверху надрезают острым ножом или ножницами, а затем поддевают „дробинку“ иглой и целиком извлекают наружу. Ранку мы, по совету местных жителей, забивали табачным пеплом. Весь секрет состоит в том, чтобы не оставить в ней частицы выстилающей гнездышко пленки — в противном случае обеспечен злостный нарыв.

Селились пики почти исключительно на подошве и под пальцами ног. Доставать их оттуда самому было очень трудно, да и не всем это искусство давалось. Всю колонию выручала мадам Миловидова, получившая у нас прозвище „Пиковой дамы“. Она проделывала эту операцию черзвычайно ловко и вскоре ее от всех хозяйственных работ освободили: с утра до ночи ей приходилось вытаскивать из нас пик. Два-три десятка у каждого было нормальной порцией, а рекорд, кажется поставил я: однажды из меня за один присест извлекли 67 штук. Три дня после этого я не мог ходить, все ноги были исковыряны.

Чтобы себя предохранить, пробовали мы мазать ноги керосином, а в обувь насыпали нафталин, но это почти не помогало. Любопытно, что пики так набрасываются только на новичков, у парагвайцев, несмотря на то, что они ходят босиком, их почти не бывает. Через год-полтора и мы им очевидно приелись и редко у кого обнаруживалось больше двух-трех в месяц.

Были тут также мухи и оводы, откладывающие яйца под кожу человеку; в первом случае результатом этого являлся целый выводок мелких червей, а во втором червь бывал один, но величиною почти в вершок. Их, конечно, тоже приходилось вырезать.

В смысле медицинских возможностей и помощи дело у нас в колонии обстояло из рук вон плохо и приходится благодарить судьбу за то, что она уберегла нас от тяжелых заболеваний и несчастных случаев. Самым вероятным из них был укус змеи, а в наших условиях он был равносителен верной смерти.

Ближайшие врач и аптека находились в Концепсионе, куда надо было везти пострадавшего на лошадях, пятьдесят верст по бездорожью. А в этом районе водилась небольшая змейка, от укуса которой смерть на-

ступала через несколько минут. Сколько угодно было гремучих, коралловых и иных, укус которых смертелен, если сразу же не впрыснуть противоядие. И эта опасность фактически грозила нам на каждом шагу. Однажды, например, под нашим хозяйственным навесом я уселся на кучку сена, а под нею оказалась гремучая змея почти двух метров длиной. Одному нашему колонисту „гремучка“ вцепилась в носок сапога, прокусив его насквозь, но по счастью сапог был велик и пальцев она не задела.

Были в нашей местности и удавы. Живых я видел два-три раза и самый крупный из них не превышал длиной пяти метров, но однажды мне показали шкуру только что убитого и я ее измерил. В длину она была без малого девять метров, а в ширину, в области брюха, более полуметра, при толщине подметочной кожи. Впоследствии из одной такой шкуры мне был сделан великолепный портфель.

В большую панику наших дам первое время повергали изумрудно-зеленые змеи, лазившие всюду по деревьям, но они оказались совершенно безобидными.

Змеями опасности подобного рода у нас далеко не исчерпывались. Помню такой случай: на соседней чакре десятилетнего мальчика укусила сколопендра. Его отец прибежал к нам просить помощи. Все что мы могли сделать, это выдавить ранку и поставить нашатырный компресс. После этого пострадавшего сейчас же повезли в город, но по дороге он умер.

Из ядовитых пауков здесь тоже был один, укус которого всегда смертелен, — это наш закавказский каракурт или его близкий родич. Было много и других, тоже очень опасных. Птицееды в изрядном количестве жили у нас под навесами, забирались в корзины, чемоданы и постели, ночью залезали в сапоги и в снятую одежду. Вид у них свирепый и устрашающий, но характер довольно мирный, зря они не кусают. Приведу два случая: однажды полковник Прокопович надел шляпу, в которой устроился такой паук и заметил это только тогда, когда последний начал лазить в него по лысине, но все же не укусил, так как мог под шляпой двигаться. Иное случилось, когда другой наш колонист, Криворотов, утром стал пялить на ногу сапог,

забыв его предварительно вытрясти. Сидевший там птицевед отступал до самого носка, и когда ему ничего иного уже не оставалось, укусил за большой палец. Нога у Криворотова посинела и распухла, как колода, два дня его лихорадило, но этим и обошлось.

Стоит упомянуть о породе пауков, работающих коллективно и плетущих огромные „общественные“ сети. Эти пауки темно-бурого цвета, величиной чуть больше европейских крестовиков и кажется не ядовиты. Свою четырехугольную паутину, очень похожую на невод, они растягивают обычно между двумя довольно отдаленными деревьями, а в городах через улицу. Каким образом на такое расстояние перекидываются первые нити, мне наблюдать не приходилось, но когда „рама“ готова, десятки пауков начинают лазить по ней взад и вперед, с ловкостью акробатов, разминаясь друг с другом и постепенно утолщая основу, а затем таким же образом заплетают середину. Закончив работу, они прячутся и выползают только тогда, когда надо снимать улов или что-нибудь починить.

Такая сеть выглядит очень солидно и в ней находят гибель даже самые крупные насекомые. Но полное представление о ее крепости я получил, когда на моих глазах в ней безнадежно запутался воробей. Я его вызволил, причем некоторые нити паутины, опутавшие его лапки и крылышки, пришлось резать ножницами.

Постоянную и довольно серьезную опасность представляли бурые, очень мохнатые гусеницы, длиной сантиметров в десять, их было много на кустах и деревьях наших плантаций. Достаточно было легкого прикосновения к такой гусенице, чтобы на этом месте образовалась сильно зудящая опухоль, вроде ожога. Но этим дело не ограничивалось: через полчаса начинали распухать лимфатические железы на шее, подмышками и в паху, поднималась температура, в более тяжелых случаях бывали сильные рези в желудке и рвота, словом все признаки общего отравления. Особенно опасна эта гусеница для детей: семилетний сынишка Корнелия Васильевича при таких обстоятельствах чуть не помер. Многие из нас от нее пострадали. Со мной это случилось дважды, оба раза она меня едва коснулась, но все же образовались опухоли

подмышками, лихорадило и приходилось несколько часов лежать.

Были у нас и ядовитые осы, по словам парагвайцев, шесть-семь одновременных укусов уже могут вызвать смерть. Они тоньше и немного длиннее обыкновенных, темнее окрашены. Эти осы подвешивают свои гнезда на невысоких деревьях, и если человек их случайно побеспокоил, одна — очевидно как предупреждение — камнем падает на голову, кусает и сразу бросается прочь. Одиночный укус очень болезнен, но не опасен.

Но гораздо больше неприятностей доставляли нам обыкновенные осы. В жаркие месяцы они появлялись в огромном количестве и усердно отравляли нас существование. Что бы вы ни делали, вас всегда окружает их назойливый рой. Когда садитесь есть, они лезут к вам в тарелку, а если дело касается сладкого, то без боя вы не донесете до рта ни одной ложки. Когда наши дамы варили варенье, несмотря на все предосторожности, в полученном продукте ос бывало больше, чем всего иного.

Вообще мир насекомых в Парагвае чрезвычайно богат видами, особенно бабочки, среди которых встречаются очень крупные и изумительно окрашенные экземпляры. Из дневных самой распространенной была небесно-голубая, с металлическим отливом бабочка, имевшая в размахе крыльев до пятнадцати сантиметров. Таких же размеров достигали махаоны и многие другие виды, а некоторых ночных бабочек, залетавших к нам „на огонек“, по величине мы первое время принимали за летучих мышей и птиц.

За год я собрал тут богатую коллекция насекомых, которую увезти с собой в застекленных ящиках было чрезвычайно трудно и я при отъезде подарил ее концепсионскому музею.

ЭКЗОТИКА И ДИКИЕ КАБАНЫ

Со всеми невзгодами и неудобствами нашей жизни на первых порах примиряли полная новизна обстановки и ощущение внешней независимости, т.е. свободы

от довлевших над нами в Европе законов, которые на каждом шагу ущемляли наши гражданские и человеческие права.

Правда, во всех отношениях, кроме этого, чисто психологического, наше положение было пока значительно хуже, чем у тех, даже безработных соотечественников, которые остались в Европе. И едва ли тут, в забытом Богом и затерянном в лесах Пегуа-Хосу, можно было его особенно улучшить. Но как я, так и многие другие уже понимали, что безнадежная колония „Надежда“ это не конечная цель, а лишь первый и временный этап нашей жизни в Новом Свете. В силу данного Керманову обязательства и круговой поруки, здесь предстояло пробыть год, что было не так уж страшно. Пока этот год являлся областью настоящего, он частенько вызывал неудовольствия и даже проклятия. Но отойдя в прошлое, он превратился в яркую и интересную главу, вписанную судьбой в книгу жизни.

Отправляясь сюда и основывая свои представления о Парагвае на колонизационном вранье и на прочитанных в детстве романах Майн-Рида, мы ожидали найти тут гораздо больше экзотики и притом в самых красочных формах. В действительности ее оказалось не так уж много. Вернее, она была в мелочах, вроде описанных в предыдущей главе, скорее досадных, чем поэтических. Служить пищей комарам и пикам, обливаясь потом корчевать экзотические пни и дырявить свою кожу о кактусы было совсем не интересно, а ничего более яркого и романтического в нашей жизни пока не случилось. Многих это сильно разочаровало и мы утешались мыслями, что „крупная“ экзотика, в ее майнридовских формах тут все таки-есть и впереди еще будут интересные приключения.

Их ожидание иногда приводило к курьезам.

Был, например, такой случай: как-то после обеда я беззаботно спал у себя под навесом, когда почувствовал что кто-то нетерпеливо трясет меня за плечо. Приоткрыв глаза я увидел склонившееся надо мной радостно возбужденное лицо Флейшера. В руках у него была двухстволка.

— Вставай, Миша, скорее! — крикнул он. — На наше маниочное поле, то, что под самым лесом, напа-

ло стадо диких свиней. Слышишь, как режут? Вот интересно! Бери ружье и бежим!

Вскочив с постели, я прислушался. Действительно, с опушки леса, в полукилометре от нас, совершенно явственно доносился неистовый свиной рев и многоголосое хрюканье. Никакие сомнения не оставалось. Правда, у меня мелькнула мысль, что на месте вожака этого стада, при всеровском набеге, я бы такого гвалта не допустил. Но ведь он был не человеком, а всего лишь кабаном, свиньи тоже могли оказаться недисциплинированными. А может быть их было столько, что они ничего и никого не боялись.

Схватив ружья и на ходу их заряжая, мы с женой, вслед за Флейшером побежали по тропинке к лесу. Туда уже мчалось все население „Собачьей радости“, с другой стороны, вооруженные до зубов, неслись голые „лавочки“.

За первым же поворотом мы наткнулись на четырехлетнего Лаврика Миловича, он бежал навстречу и громко ревел.

— Ты что, испугался, парень? — спросил я, приостанавливаясь.

— Нет! — заливаясь слезами поведал Лаврик. — Там я прятал свиные апельсины, чтобы мама не знала, теперь их свиньи съедят!

На полдороге мы обогнали чету Шашиных. Он был вооружен двухстволкой, она, с сигнальной трубой в руках, семенила за ним. Немного впереди бежала тетя Женя, поблескивая стеклами пенсэ и воинственно размахивая мачете. Рядом с ней, сжимая в руках огромное ружье чуть ли не кремневого периода, обливаясь потом трусил Воробьянин и наставительно бормотал:

— Сумасшедшая! Чисто сумасшедшая! Иди сейчас же назад! Ну куда ты прешь с этим мачете против кабанов? Это тебе не крысы.

— Молчи, старый! — огрызалась тетя Женя. — Сам иди назад, если ты такой дурак! Все куда-то бегут с чакры, а я что, должна оставаться там одна и ждать пока меня кабаны растерзают?

Наконец вся наша орда приблизилась к месту происшествия. Это была довольно широкая поляна, с трех

сторон окруженная лесом и засеянная маниокой, которая уже достигла высоты человеческого роста.

— Марго, стой под деревом, тебе говорю! — командовал Шашин. — Чуть покажутся кабаны, сейчас же полезай наверх!

Жалея, что не захватил фотографического аппарата, чтобы запечатлеть почтенную матрону в роли белки, я огляделся по сторонам. На двух или трех деревьях возле опушки виднелись сделанные прежними хозяевами охотничьи вышки, они, казалось, свидетельствовали о том, что эту поляну и прежде посещали какие-то крупные звери, на которых было рискованно охотиться, стоя на земле.

Из верхнего угла поляны, совсем близко от нас, слышался такой многоголосый, хрюкающий рев, на какой были способны разве что полсотни свиней. Однако на самой поляне не замечалось ничего необычного. Ряды маниоки стояли зеленые и пышные, как всегда и нигде не шевелились.

Все же, расставив дам под деревьями и соблюдая полную тишину, мы рассыпались цепью и осторожно начали приближаться к тому месту, где бушевали свиньи. Но едва прошли двадцать шагов, рев, как по команде, смолк и несколько минут спустя раздался в некотором отдалении, уже в лесу. Неприятель явно отступал. Несколько разочарованные и уже не соблюдая особой тишины, мы приблизились к опушке, только что покинутой животными. Здесь кусты и трава были сильно помяты, но никаких иных следов не оказалось.

— Черт его знает, может быть это были соседские свиньи? — высказал кто-то прозаическое предположение. Но на него сейчас же обрушились другие:

— Не может быть! Где ты тут видел у соседей столько свиней? И как они могли сюда попасть, минуя наш двор?

Это было совершенно справедливо и следовало все же думать, что нас посетили дикие свиньи.

— Что же в этом удивительного? — заметил Керманов. — Даже в газетах писали, что в Парагвае уйма диких кабанов. Читали, как их загоняют в дупла деревьев и бьют чуть ли не врукопашную? Ну, вот это они и есть! Давайте все же попробуем их догнать.

— Ищи, ребята, подходящее дупло, чтобы загнать все стадо, — сострил кто-то.

Мы принялись пробираться сквозь чащу, но по мере нашего продвижения вперед, рев животных отодвигался в глубину леса и вскоре совершенно затих вдали. Не солоно хлебавши мы вернулись домой. Лишь кто-то один, не теряя надежды, остался бродить по лесу и возвратившись вечером уверял, что догнал таки стадо диких свиней, в котором было не меньше пятидесяти голов, стрелял по огромному кабану, но за дальностью расстояния дал промах и все свиньи сейчас же скрылись в зарослях.

Не очень поверив этому, на следующий день мы принялись расспрашивать о здешних диких свиньях соседа-парагвайца и рассказали ему про наш вчерашний случай. Он долго смотрел на нас с недоумением, но наконец понял и расхохотался.

— Это обязьяны, — пояснил он. — Особая порода, так называемые ревуны. Они ходят большими стадами и орут совсем как свиньи. А диких кабанов тут поблизости нет. Раньше были, но теперь, когда здесь поселилось много народу, все ушли ближе к реке. Там, в речной сельве, их еще можно встретить, но ходят они в одиночку или небольшими семьями.

Все же многие из нас не сразу поверили в ревунов — обидно было расставаться с кабаньей мечтой. Однако парагваец оказался прав. В дальнейшем ревуны очень часто кричали вокруг колонии, но на открытых местах никогда не показывались, а при приближении человека сразу переставали орать и по низу, не взбираясь на деревья, уходили в глубь леса. Нашим плантациям они никакого заметного вреда не наносили.

Подобные ложные тревоги бывали у нас первое время довольно часто. Однажды, три наших дамы, уже в поздние сумерки мывшиеся у лесного источника, прибежали домой полуодетые и с намыленными волосами — по их словам какой-то крупный зверь заворочался и зарычал в чаще, в нескольких шагах от них. Туда бросились мужчины с ружьями и на указанном месте обнаружили... корову.

В другой раз я проснулся ночью от какого-то скандала, поднявшегося в свинушнике, там наши свиньи визжали и хрюкали во всю мочь. Думая, что к ним забралась пума, я схватил наган и помчался на выручку. Светила полная луна и подбегая я увидел как из свинушника выскочил какой-то зверек, величиною с кошку. Я выстрелил и промахнулся, „пума“, которая оказалась опоссумом¹, благополучно скрылась в кустах. Вероятно, бедняга рассчитывал полакомиться остатками помоев, а негостеприимные свиньи приняли его „мордой об стол“.

В чайньи встречу с ягуарами, пумами и иными опасными неожиданностями, мы первое время не расставались с револьверами, а входя в лес расстегивали кобуру и были начеку, чтобы вовремя отразить любое нападение. Однако довольно скоро не без некоторой грусти все поняли, что мы находимся в самой мирной и благонамеренной глуши и что в окружающем нас лесу опасностей не больше, чем на любой парижской улице. Все звери, какие тут были, бежали от человека без оглядки.

Револьверы безжизненно повисли на гвоздях под нашими навесами и о них вспоминали преимущественно тогда, когда надо было на радостях или по пьяному делу пострелять в воздух.

ОГОРОДНИЧЕСТВО И САДОВОДСТВО

С овощами и зеленью, столь обычными в ежедневном меню каждого европейца, в Парагвае дело обстоит значительно хуже. В столице их недостаток ощущается меньше всего, так как в окрестностях есть большие и хорошо организованные огороды, которые в сезон поставляют на городской рынок свои продукты. В это время тут можно было, хотя и дороговато, купить все, что продается на любом европейском базаре. По минувении сезона многое и, в частности, почти вся зелень, исчезает, а то, что остается, сильно поднимается в це-

¹Опоссум, или как его здесь называют, комадреха — сумчатое животное, похожее на крысу, но величиною с кошку.

не и делается мало доступным человеку скромного достатка. Цена килограмма картофеля, например, в мое время равнялась цене десяти ананасов, а кустик очень неважного салата — цене шести дюжин апельсинов.

В провинции, особенно в тропической зоне, недостаток овощей и зелени ощущается круглый год. Огородничеством тут никто не занимался, так как оно требовало большого и упорного труда, который, к тому же, себя не оправдывал, ибо местные парагвайцы привыкли обходиться без зелени, а иностранцев в таких местах было очень мало. Лишь в редких случаях здесь можно увидеть где-либо возле жилья грядку лука да несколько кустиков укропа. За весь год, проведенный в концепсионском районе, я не видел ни одного огурца или помидора, ни бурака, ни морковки, а салат ел только один раз во французском отеле.

Живя в колонии, никакого ущерба для здоровья от недостатка зелени мы не ощущали, так как витаминами нас вполне обеспечивали местные фрукты. Но стол наш без огородины был убийственно однообразен. Первое время, пока средства позволяли изредка покупать макароны и рис, было еще ничего, но позже все наши кулинарные возможности свелись к трем продуктам: мясу, кукурузе и маниоке, из которых, как ни изощрялись хозяйки, нельзя было состряпать более полудюжины кушаний, довольно похожих одно на другое. Раз в неделю, вместо всяких салатов, нам отпускали к обеду по половинке сырой луковицы и мы ее смаковали как высший деликатес.

Позже директор агрономической школы дал нам рассаду какого-то местного растения, которое нас сильно выручило, тем более что муравьи его считали несъедобным. Это были невысокие, неприхотливые и очень быстро растущие кустики, их листья вкусом напоминали щавель и из них получался отличный зеленый борщ, а из цветов — кисель, похожий на клюквенный.

Когда я, в качестве секретаря колонии и „чиновника для особых поручений“, отправлялся по делам в Концепсион и перед отъездом спрашивал свою маленькую дочь, чего ей привезти вкусного, никакие шоколады и мармелады ей на ум не шли: она просила картошки. В Концепсионе последняя продавалась по 30

пезо за килограмм (стоимость пяти кг мяса или двух гусей) и покупать ее в пищу колонии у нас было не больше возможностей, чем у какого-нибудь рязанского мужика питаться омарами и ананасами. Я привозил кулечек этого драгоценного продукта, ребенок самозабвенно им наедался, а уж потом остатки внимания и аппетита уделял привезенным сладостям.

Понятно, о собственном огороде мы думали с первых же дней и по указанию Керманова, под него сразу начали расчищать гектар леса, возле семейной чакры. На этом участке мы воочию убедились насколько далека от истины была брошюра Колонизационного Центра, утверждавшая, что один человек может расчистить гектар леса за неделю. У нас, при ежедневной и очень напряженной работе трех человек, на это дело ушло два месяца, хотя лес на этом месте был сравнительно редкий и самые толстые деревья не превышали фута в диаметре.

Однако этот труд оказался напрасным: когда участок был готов и вспахан, Керманов почему-то передумал и приказал отвести под огород другой участок, гораздо меньший, на чакре „лавочников“. От леса он был уже очищен прежними владельцами, оставалось только выполоть бурьян и сделать грядки, что отняло не много времени.

В наших рядах случайно нашелся опытный огородник, капитан Богданов, родом болгарин, который и взялся за дело. Первая рассада у него взошла отлично, но несмотря на неусыпный надзор, ее в одну далеко не прекрасную ночь без остатка съели муравьи. Вторую, с которой Богданов буквально не спускал глаз, частично постигла та же участь, но кое-что все-таки уцелело. Муравьиные набеги периодически повторялись и после каждого из них от огорода оставалось все меньше, несмотря на все ухищрения огородника, который окопал грядки канавками, окружил всякими защитительными сооружениями и гонялся чуть ли не за каждым муравьем в отдельности. Вскоре он заявил, что вырастить салат, огурцы и помидоры потерял всякую надежду и на этом фронте борьбу прекратил. Затем какие-то черви без остатка истребили начавшую подрастать капусту и по неизвестным причинам зачахла картошка.

Полагая, что дело с огородом можно считать законченным, мы перестали им интересоваться, но Богданов все же продолжал копать в почти опустевших грядках.

К Пасхе, которую мы решили отпраздновать со всей возможной торжественностью (было даже постановлено к розговенам явиться в европейских костюмах), он сделал нам неожиданный и сенсационный подарок: три глубоких тарелки редиски, которую ему удалось вырастить. Позже, в количествах чрезвычайно скромных, на столе раза два в месяц появлялась репа, а иногда и зеленый перец. Этим достижения первого года ограничились. Однако в следующем году, когда я уже был в Асунсионе, а в нашей колонии оставалось человек десять, Богданов мне оттуда писал, что огород ему удалось наладить хорошо. Выросли в достаточно количестве капуста, морковь, бураки, перец и лук, даже немного помидоров и салата.

Это показывает, что дело тут не в климатических или почвенных условиях, а только лишь в надлежащем уходе, который в таких местах, как наша колония, был чрезвычайно труден.

Садоводством мы не занимались, но стоит сказать несколько слов и о нем. В информационной брошюре колонизаторов, среди прочих перлов, примеры которых я уже приводил, был и такой, едва-ли не самый крупный: „В Парагвае прекрасно вызревают все виды европейских фруктов: яблоки, груши, сливы, вишни и пр. Со времени владычества иезуитов в стране осталось множество разросшихся среди леса садов, изобилующих всеми этими фруктами“.

Где находятся эти волшебные сады, я не знаю. Колонисты других районов и парагвайцы, которых я спрашивал, тоже никогда и ничего об этих садах не слышали. Таким образом гиперборейский характер этого фруктового мифа можно считать вполне установленным.

Что касается легкости или даже самой возможности вызревания здесь этих фруктов — тоже очень сомнительно. В Парагвае их можно было иногда увидеть только в лучших магазинах столицы. Продавались они поштучно и цены красноречиво свидетельствовали

о том, что они импортированы: стоимость одного яблока или груши равнялась цене нескольких десятков фруктов местного происхождения (апельсинов, мандаринов, бананов) или дюжины ананасов. Приблизительно так же обстояло дело со сливами, а вишень в продаже вообще не бывало. Не видел я и персиков.

Тут было царство цитрусовых деревьев, главным образом апельсинов и мандаринов. Парагвайскую чакру и даже городской дом так же трудно себе представить без кущи этих деревьев, как украинскую хату без вишневого садика. Много было повсюду и бананов. Все эти фрукты вывозятся даже за границу, но экспорт плохо организован и практически возможен только из таких местностей, которые близки к какому-нибудь крупному речному порту.

У нас было иное. Несколько десятков верст бездорожья отделяло Пегуа-Хосу от Концепсиона, но и оттуда вывоз не был налажен. Не существовало ни скупщиков-оптовиков, ни приемщиков; в самом городе в этих фруктах тоже никто не нуждался, они были у каждого в саду, а потому в наших краях о возможности продать апельсины и мандарины никто не помышлял. Каждая крестьянская семья ела их, сколько могла, а остальное скармливала свиньям и быкам. Последние на них особенно падки. Если идущий в упряжке вол увидит валяющийся в стороне апельсин, он обязательно свернет с дороги и съест его, а если вы окажетесь достаточно умелым, чтобы этому воспрепятствовать, настроение животному будет надолго испорчено.

Увидеть здесь апельсиновое или мандариновое дерево, под которым земля покрыта слоем бесцельно гниющих фруктов, можно было на каждом шагу. Помню, вскоре после нашего приезда, моя дочь, проходя мимо соседского сада, попросила позволения поднять один из валявшихся под деревом мандаринов. Парагваец посмотрел на нее с удивлением и ответил: „Детка, я тебе дарю все это дерево, пусть твой отец придет и снимет фрукты“. Мне было неловко воспользоваться его щедростью и я не пошел, но на следующий день он явился в колонию и так настаивал, что пришлось согласиться, чтобы его не оби-

деть. Полученными мандаринами можно было завалить целый магазин.

На наших деревьях, как я уже говорил, фруктов почти не было, а потому то один, то другой из нас отправлялся покупать апельсины у соседей. Парагвайцы в большинстве случаев отказывались от денег, но все же мы им совали какую-нибудь мелочь, и в конце концов на апельсины установилась цена в одно пезо за дюжину (одна пятая цента). Нередко бывало, что у кого-либо из соседей наступала пора безденежья, в таких случаях парагвайка брала мешок апельсинов и приносила в колонию продавать. Обычно в покупателях недостатка не было, так как мы поедали апельсины десятками, но случалось и так, что все ими уже запаслись вдоволь и никто больше покупать не хочет. Незадачливая продавщица выходит за ворота, возле ближайших кустов воровато оглядывается и убедившись, что на нее никто не смотрит, высыпает свои апельсины на землю — тащить их в жару домой нет никакого смысла.

Приблизительно также обстояло дело с бананами, хотя у парагвайцев они в большом почете, свиной ими, во всяком случае, не кормят. Тут распространен главным образом карликовый сорт — плоды не длиннее десяти сантиметров, но они гораздо ароматнее и вкуснее обычных. Также и лимоны тут особого сорта: они не превышают величиной среднюю сливу и растут не на деревьях, а на кустах. Каждый парагваец, отправляясь куда-нибудь, набивает ими карманы, чтобы выдавливать в воду, которую ему придется пить по дороге из всяких полувонючих родников и луж.

Из других фруктов тут есть манго, мамона, помела (грейпфрут) и несколько сортов местных ягод, растущих на деревьях и на кустах. Культурой ананасов в нашем районе никто не занимался, вероятно, за невозможностью сбыта, но в других местах, и в частности возле столицы, я видел громадные и хорошо поставленные плантации. В сезон ананасы тут очень дешевы и в Асунсионе мы их ели почти каждый день, причем мало кто ограничивался одним.

На всех окружающих нас кампах в буйном изобилии росли особые пальмы, о которых стоит упомянуть.

На них огромными гроздьями висели розовато-оранжевые плоды, величиной и формой похожие на сливы. В сыром виде они несколько терпки и здесь их никто не ест. Но наши дамы научились варить из них превосходный компот, имеющий специфический и очень приятный вкус.

И сколько раз мы в колонии строили воздушные замки, вернее воздушные фабрики консервов и рассуждали о возможности экспортировать этот компот в другие страны. Совершенно бесплатные фрукты для этого имелись в любом количестве, а такая новинка, при некоторой рекламе, имела много шансов вызвать большой спрос на зарубежных рынках. При умелой организации это сулило несомненный успех, а может быть и богатство. Но для людей, подобных нам, т.е. лишенных капиталов и коммерческой жилки, все это оставалось праздными мечтами, которые помогали коротать вечерние часы.

КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ

После водворения на "обетованную землю" прошло около месяца. Расплавленный солнцем день клонился к тропически поспешному концу и Шашин только что исполнил на сигнальной трубе наш любимый опус — вечерний отбой.

Последние дни мы с Флейшером и Оссовским занимались выделкой кирпичей для хлебопекарни, так как имели в этой области солидную практику в Болгарии. Работать приходилось по колено в грязи, на совершенно открытой поляне, под палящими лучами солнца и потому мы с особым нетерпением ожидали вечернего отдыха.

Лесной источник еще не оправился после приведения его в "христианский вид" и по причине нестерпимого зловония был совершенно неприступен. Колодцы наши тоже не были закончены, а потому, выбравшись из кирпичной ямы, с ног до головы перепачканные грязью, мы поплелись к роднику на кампе, чтобы помыться. Спешить не было надобности: все остальные работали в гораздо большем отдалении и на пути к

драгоценной влаге нас никто не мог опередить. В вечернем воздухе висела каменная духота, болото курилось банной испариной, а из проходивших далеко стороною туч яростно сверкали багровые зарницы.

— Ну, слава Богу, воды нам хватит, — сообщил Флейшер, подходя к роднику и заглядывая внутрь. — Счастье, что наша яма близко и пришли первыми, а то вместо мытья пришлось бы облизывать друг друга.

Вокруг не было видно ни души, а потому сбросив трусики и оставшись нагишом, мы с наслаждением принялись мыться, поливая друг другу из ведра. Увлеченные этим занятием и к тому же сильно допекаемые комарами, по сторонам мы не озирались и дело уже близилось к концу, когда Оссовский, случайно взглянув в сторону опушки, внезапно принял позу испуганной нимфы.

— Братцы, бабы идут! — растерянным голосом промолвил он.

— Экая важность, — пробурчал Флейшер. — Наши туалеты надеть недолго.

Однако, обернувшись мы сразу поняли, что целомудренная идея Флейшера неосуществима: "туалеты" лежали на бревне, шагах в десяти, и две парагвайки, с железными бидонами в руках, находились уже возле них. На ровной как тарелка местности деваться было некуда и потому, как по команде присев на корточки, мы любезно осклабились в сторону подходивших женщин. Вид у нас, надо полагать, был довольно глупый.

Парагвайки, не обнаруживая ни малейших признаков негодования или смущения, но вместе с тем без всякого намека на игривость, промолвили "добрый вечер" с такой естественностью, будто мы были одеты со всем подобающим приличием, затем наполнили свои жестянки водой, поставили их на головы и зашагали к своей чакре. Мне невольно пришла в голову мысль, что цивилизованной женщине гораздо труднее было бы выйти из подобного положения с таким тактом и достоинством.

— А посмотрите, ребята, как ловко прут они на головах свою ношу, — сказал Флейшер, провожая глазами женщин. — Ведь ни одна капля не расплескается,

не говоря уже о том, что не всякая башка выдержит двухпудовую тяжесть.

Действительно, способность парагваек к ношению на голове всевозможной кладки не раз приводила нас в изумление. Банка с водою, это еще пустяки. Но в Концепсионе мне однажды пришлось наблюдать такую сцену: бедная семья, видимо, переселялась на другую квартиру. По улице впереди всех важно ехал верхом на коне глава семейства, еще молодой мужчина. Согласно правилам местного хорошего тона, ни на седле, ни в руках у него не было решительно ничего. За хвостом его лошади шла жена и несла на голове здоровенный сундук. Орава ребятишек с узлами и пакетами дополняла шествие.

В Асунсионе я не раз любовался ловкостью идущих с базара женщин, с низкими круглыми корзинами, поставленными на головы; на них возвышались целые пирамиды фруктов, стояли бутылки и пр. Не прикасаясь к корзинам руками, женщины перебежали улицы, лавировали между мчавшимися автомобилями, иногда останавливались посудачить со встречными кумушками, закуривали, а у некоторых, к тому же, сидел верхом на бедре маленький ребенок. И ни разу я не видел, чтобы из корзины что-нибудь упало.

Там же, в Асунсионе, мне пришлось быть свидетелем похорон по непредусмотренному погребальным статусом разряду: парагвайка мать несла на голове гроб с ребенком к месту последнего успокоения. Как я уже упоминал, в Асунсионе "зажиточных" покойников возили на кладбище трамваем, но это удовольствие стоило в то время две тысячи пезо — месячное жалованье среднего служащего, и потому народ победнее выходил из положения сообразно своим возможностям, одну из которых мне и довелось наблюдать в данном случае.

Окончив купание, мы надели трусы, захватили с собой ведро воды и направились к чакре. Быстро падали сумерки, и справа от нас все болото уже стонало лягушечьими голосами.

— Вот жизни! — мрачно вымолвил Оссовский. — Работаешь целый день, как каторжник, а вечером какой тебе отдых? Ни газеты, ни радио, ни пойти куда-

нибудь. Набьешь брюхо маниокой, покоптишься полчаса у костра, покормишь комаров и спать. Да и сон-то какой — в луже пота!

— Ну, Леня, это уж ты преувеличиваешь, — возразил присоединившийся к нам после мытья Полякевич, один из "лавочников". — Можно еще, например, пик выковырять, поругаться с кем-нибудь, каньи выпить, в воздух пострелять... Культурных развлечений сколько угодно. Не на одной же газете либо на радио свет клином сошелся.

— Ты, вот, насчет каньи сказал, — вмешался Флейшер. — Я бы иной раз с удовольствием выпил стаканчик, да всякая охота отпадает как подумаешь, что для этого нужно после работы специально одеваться, седлать коня и скакать чуть ли не десять километров до ближайшего кабака.

— Конечно, это большое неудобство, совершенно не предусмотренное Кермановым при выборе участка, — согласился Полякевич. — Но вот, между прочим, ходят слухи, что тут в лесу, совсем недалеко от нас, есть чакренка, и там кабак не кабак, но продают вино и канью. Не сделать ли разведку?

— Когда, сейчас?

— А почему бы и нет? Перед ужином было бы очень неплохо пропустить по стаканчику, а направление я приблизительно знаю, так как уже интересовался этим вопросом.

Одевшись, пристегнув револьверы и захватив бамбуковые дубины от собак, которых было множество на каждой чакре, мы, предводительствуемые Полякевичем, тронулись в путь. Узкая тропинка змеилась параллельно опушке через редкий лес, с поваленными тут и там деревьями. Светила луна. Вокруг нас тягучими голосами перекликались какие-то птицы. В зарослях цвели мимозы и лианы, воздух был насыщен их одуряющим благоуханием.

— Эх, благодать какая! — невольно вырвалось у меня.

— Прямо как после взрыва в парфюмерном магазине, — отозвался Флейшер.

Дальнейший обмен впечатлениями был прерван многоголосым лаем. Мы уперлись в ворота какой-то

дотоле нам неизвестной чакры и дружно заплодировали — это в Южной Америке заменяет звонок. Вышедший в одних портах хозяин объяснил, что канью продают на соседнем дворе, разгоняя собак, любезно проводил нас через свою территорию, что значительно сокращало путь.

Через несколько минут мы уже стояли под навесом большой и довольно уютной чакры, окруженной фруктовом садом, и при тусклом свете керосинового фанаря знакомились с хозяевами.

Тут, на просторной лесной вырубке жила довольно многочисленная семья, состоявшая из старухи матери — типичной индианки, которая никогда не выпускала изо рта трубки, ее тридцатилетней дочери и двух женатых сыновей с изрядным количеством ребятишек.

Младший из братьев, дон Лусиано, тоже до того походил на индейца, что к нему прямо просился головной убор из орлиных перьев. По натуре это был энтузиаст сельвы, охотник и бродяга, а так как все эти качества находили отклик и в моей собственной душе, мы с ним подружились. Лусиано большую половину жизни проводил в лесу и за первым же стаканом каньи вызвался показать нам на берегу реки Ипанэ такие места, где, по его словам, мы сможем наловить уйму рыбы и поохотиться на крупных зверей.

Подрабатывал распивочной продажей вина и каньи его старший брат, дон Маврисио, недавно возвратившийся с войны глубоким инвалидом и несколько месяцев спустя умерший от полученных ран. Узнав об истинной причине нашего визита, он наполнил каньей единственный имевшийся в его инвентаре стакан, и, повинувшись традиции, я пустил его вкруговую. Таким же образом были распиты еще два стакана, затем мы попросили литр вина.

— Здесь так симпатично, что на ужин мы безусловно опоздаем, — сказал Флейшер, — а пожевать чего-нибудь все же нужно. Спроси-ка, Миша, может у них найдется какая либо закуска?

Я перевел вопрос и выяснилось, что кроме галет и самодельного сыра нам ничего предложить не могут.

— Ну, что ж, принимая во внимание место действия и прочие тропические обстоятельства, это не так уж плохо. Заказывай галеты и сыр!

— А вот в углу лежит куча арбузов, — заметил Оссовский. — Спроси, не продадут ли один из них?

— Арбуз? — удивился дон Маврисио. — Да вы же вино пьете!

— Так что же из этого? — в свою очередь удивилась мы.

— Это самоубийство! Арбуз с вином действует как сильный яд.

Мы недоуменно переглянулись.

— Что за чепуха! — воскликнул Полякевич. — Я помню, в Болгарии мы, выбрав часть мякоти, наливали в арбуз вина, а то и спирта, и дня через три за милую душу пили эту настойку. Что тут арбузы какие-нибудь особенные? Ты, химик, как смотришь на это дело?

— Для пользы науки предлагаю пожертвовать собой, — ответил я, и выбрав арбуз, разрезал его на части. К ужасу всех присутствующих, мы без промедления съели его, запивая вином, потом попросили второй литр и второй арбуз. И наконец, уже без арбуза, выпили еще два литра.

Надо сказать, что во всех южно-американских странах прочно укоренилось убеждение, что смешать в желудке вино с арбузом равносильно почти неминуемой смерти. Тщетно я, как и многие европейцы, в течение почти сорока лет стараюсь доказать всем знакомым аборигенам, что эта смесь совершенно безвредна, поедая на их глазах арбузы и запивая их вином. На меня смотрят с любопытством и недоверием, как на фокусника, глотающего живых цыплят и пьющего горящий керосин, а может быть думают, что я принимаю перед этим какое-нибудь противоядие. Попробовать, во всяком случае, никто не рискует и все остаются при своем враждебном заблуждении. Постепенно в этот вздор начали тут верить и многие русские.

— Интересно, откуда пошло у них такое поверье? — промолвил Оссовский. — Я уже и от других парагвайцев это слышал. Может и в самом деле бывали такие случаи?

— Не думаю, — ответил я. — Ни в вине, ни в арбузе нет решительно ничего такого, что могло бы скомбинироваться в яд. У этой ереси какие-то другие корни, может быть даже исторические. Возможно, например, что в далеком прошлом какого-нибудь знатного кацика или конквистадора отравили его собственные приближенные, а вину свалили на арбуз и вино, которыми он в тот день подзаправился. Или еще что-нибудь в этом роде. Вот откуда оно и пошло.

— Я, во всяком случае, чувствую, что здоровья у меня явно прибавилось, — вставил Флейшер. — Переведи, Миша, этому индейцу.

— Может быть у русских желудки крепче и на вас это позже подействует, — пробормотал немного растерянный дон Маврисио. — Дай Бог, конечно, чтобы обошлось.

— Завтра вечером придем вам показаться, — сказал я. — Готовьте пару арбузов и литра три вина!

Простившись с хозяевами, мы изрядно навеселе зашагали по тропинке домой. В лесу стояла первозданная тишина, по обочинам таинственной ратью толпились стволы деревьев, в разреженном лунном свете гигантскими змеями чудились свисавшие с них лианы. Хмельному воображению все это казалось декорацией к какой-то полузабытой сказке, в которой и мы играем не последнюю роль.

— Ну что, Леня, разве плохо провели время? — благодушно икнув спросил Полякевич. — Или тебе все еще хочется газеты, радио и шума балов? Насчет газеты помочь не могу, а ежели хочешь шума, за этим дело не станет...

И вытащив свой наган, он принялся посылать в Божий свет пулю за пулей.

К концу пути ни у кого из нас не оставалось ни одного патрона.

ЛЕС И ЛЕСНЫЕ РАБОТЫ

Как я уже говорил, смежно с купленными участками, от казны нам дали полоску девственного леса, на несколько верст вглубину. Веруя на первых порах в

то, что этот лес нам пригодится и будет со временем обращен в цветущие плантации, Керманов настоял перед властями на присылке землемера, который, живя у нас в колонии, успел наполовину обрусеть, пока отыскал в дебрях какие-то ориентировочные пункты и точно определил границы наших лесных владений. Теперь для внешнего мира "Надежда" из скромной чакры обратилась в обширное поместье.

Это было, конечно, весьма лестно для самолюбия, но совершенно бесполезно во всех иных отношениях, прежде всего потому, что мы не имели никакой возможности огородить свой надел законной изгородью и тем официально закрепить его за собой, ибо необходимая для этого проволока стоила бы в несколько раз дороже всей нашей колонии. А собственность "на словах" никакого юридического значения не имела — с таким же успехом мы могли словесно занять втрое большую площадь леса и в доступных нам формах ею пользоваться. В те времена подобный образ действий тут не только не встречал возражений, но даже поощрялся. Свободных, но трудных для эксплуатации земель был непочатый край и правительство всегда шло навстречу людям с инициативой, которая обещала хотя бы попытку вывести такие земли из девственного состояния.

Приведу конкретный пример: один из моих асунсионских друзей, хан Нахичеванский, человек, как и мы, совершенно безнадежный, одно время мечтал заняться в Парагвае коннозаводством. Он съездил в Чако, нашел там место, которое ему приглянулось, по возвращении в Асунсион отправился в министерство агрокультуры и без всякого труда получил документ, которым отдавалось ему во владение 10 000 гектаров земли, с тем, что лишь что через десять лет после начала эксплуатации он должен приступить к погашению стоимости этой земли маленькими квотами. Таким образом, сделаться в Парагвае крупным помещиком в ту пору было гораздо легче, чем извлечь из подобного поместья какую-нибудь пользу.

Так было и в нашем случае. Полученный лес был нам совершенно ненужен, ибо с первых же дней практика показала, что работа на купленных, уже расчищенных участках, требует столько труда и времени,

что их не останется на корчевание леса. Насколько это трудоемкое дело, все увидели при расчистке участка под огород. Увеличивать такой ценой свою посевную площадь не было смысла, как не было его и в самом увеличении посевной площади, при отсутствии рынка для сбыта своих продуктов.

Лесные работы свелись у нас к рубке деревьев, пригодных для наших хозяйственных построек, и к проложению через лес дороги, которая должна была облегчить сообщение с Концепсионом. Для этой цели мы сначала предполагали расчистить ту дорогу, по которой в день приезда пробивался наш обоз с железнодорожной станции. Однако, из разговоров с местными жителями выяснилось, что когда-то существовала более короткая дорога, соединявшая нашу опушку с узкоколейкой почти по прямой линии. Она давно заросла и потерялась в дебрях, так что никто из соседей даже не мог толком указать, где она проходила. После долгих поисков мы ее "русло" все же нашли. Оно на всем своем протяжении было покрыто двухметровым бурьяном, кустами и даже молодыми деревьями. Вдобавок все это густой сетью оплетали лианы.

Привести в порядок эту пятикилометровую просеку оказалось делом далеко не легким, при ежедневной работе шести человек на это мы потратили три месяца. Сначала по ней прошли топорами и мачете, вырубая заросли и, где нужно, расширяя полотно: затем прошли вторично, выкочевывая пни, срывая бугры и засыпая ямы и норы; и, наконец, в третий раз, с мотыгами и граблями, удаляя остатки корней и окончательно выравнивая дорогу.

Эта работа была тяжела и неприятна. В лесу все время стояла удручающая духота и мы буквально истекали потом, тем более, что работать в облегченных туалетах, как на кампе, тут было невозможно: кругом все колело, царапало, жгло и кусалось — человека тут на каждом шагу подстерегали самые изощренные и порой совершенно неожиданные каверзы.

Какой-то самый безобидный на вид кустарник, росший по обочинам дороги, при малейшем прикосновении обжигал так, что по сравнению с ним крапива вспоминалась с чувством нежности. Хотел кто-нибудь

отстранить мешавшую ему ветку и в него вонзалась отлично замаскированная колючка, длинная и острая как игла; вытащить ее казалось нетрудно, но при этом тонкий как волос кончик почти всегда оставался в теле, обеспечивая злостный нарыв. Иной раз не оглядев хорошенько древесного ствола, усталый человек опирался на него рукой или спиной и какое-нибудь насекомое жалило его так, что из глаз сыпались искры. Сделав неверный шаг, он попадал ногой в муравейник и его мгновенно облепляли рассвирепевшие муравьи. Часто, обрубив какую-нибудь ветку или лиану, он лишь тогда сознавал сделанную оплошность, когда на него набрасывался рой потревоженных ос. Иной поэтически настроенный человек срывал красивый цветок, чтобы его понюхать, и через полчаса нос у него раздувался как спелая груша. Словом не перечесть всех сюрпризов, которые таятся в подобном лесу.

Но хуже всего были, конечно, комары. При каждом шаге из травы поднимались звенящие эскадрильи и больше уже от человека не отставали. Казалось, воздух до предела насыщен ими и в большинстве случаев работать можно было только окружив себя дымными кострами.

Этот каторжный труд, если и не принес нам особой пользы, отчасти вознаграждался моральным удовлетворением: когда дорогу закончили, ею справедливо можно было гордиться, лучшей и более красивой не было, вероятно, во всем Парагвае. Проехать по ней верхом или просто пройти в те месяцы, когда спадала жара и исчезали комары, было истинным наслаждением.

Заготовка строительных материалов тоже была нелегким делом. Работать приходилось в таких же условиях, но много труда и времени уходило еще на поиски.

На этом поприще нас ожидал неприятный сюрприз: все ценные и официально допускаемые для построек породы деревьев в ближайшей полосе леса были давно вырублены местными жителями. Искать их далеко в глубине сельвы и две-три версты нести на руках тяжелые как железо стволы, прорубать себе путь мачете, было немислимо, и нам волей-неволей пришлось довольствоваться тем, что осталось, предъявляя

к дереву только два требования: чтобы оно обладало твердой древесиной и было, по-возможности, ровным. Но и такие отнюдь не росли на каждом шагу.

Первоначально относительно пригодные материалы можно было найти недалеко от опушек, но в парагвайском лесу прямых деревьев вообще очень мало, а потому в поисках подходящего столба или жерди вскоре уже приходилось углубляться в чащу на добрые полкилометра.

Оценить степень пригодности дерева можно было только приблизившись к нему вплотную — издали стволов не было видно и оставалось судить по вершинам. Когда предполагалось, что дерево ровное, к нему прежде всего надо было прорубить сквозь заросли тропинку. При ближайшем рассмотрении оно сплошь и рядом оказывалось никуда не годным и труд в этом случае пропадал зря. Если оно оправдывало ожидания, рядом расчищали полянку, чтобы его повалить. Однако в большинстве случаев срубленное дерево не падало, а повисало на лианах, которые связывали его с соседними вершинами; высвободить и опустить его на землю было нелегко, а иной раз и просто невозможно.

Очищенный ствол надо было вынести из леса немедленно: через два-три дня прорубленная к нему тропинка заростала без следа и найти это место удавалось лишь в редких случаях. Вытащить иное бревно на опушку тоже было не просто: десять-двенадцать человек, сгибаясь под железной тяжестью и облепленные комарами, должны были нести его на плечах, по узенькой тропинке, иногда несколько сот метров. По пути положить бревно на землю и отдохнуть не позволяли заросли, кроме того, поднимать его на плечи было труднее всего.

Флора Парагвая чрезвычайно богата видами. В его лесах, на площади одного гектара иной раз можно увидеть более сотни различных деревьев. Европейских пород среди них нет совершенно (за исключением ивы на речных берегах), а из общеизвестных можно назвать несколько различных видов акаций, эвкалиптов и пальм. Из остальных, частично известных мне только под их гуаранийскими названиями, многие отличаются невероятной

тяжестью. Обрубок такого дерева брошенный в воду, камнем идет на дно.

Столь же разнообразны лианы и другие ползучие растения. Их стебли тянутся на десятки и сотни метров, спиралями взбираясь на стволы деревьев, густой сетью оплетая вершины, причудливыми петлями свисая с ветвей. Крепость их изумительна: по лиане, толщиной в мизинец, человек без всякого риска может взбираться наверх и как угодно раскачиваться. Нередко несколько лиан свиваются вместе, образуя канат в 10 — 15 сантиметров диаметром.

Особую красоту приобретает здешний лес в период цветения. Лианы покрывают его цветами всевозможных оттенков и форм. Часто несколько различных ползучих растений, опутывающих какое-либо дерево, расцветают одновременно красными, белыми, желтыми и фиолетовыми цветами, придавая ему вид гигантского букета.

Внизу, под деревьями, стелятся непролазные заросли всевозможных кустов, папоротников и кактусов. Последних много растет и на кампах, достигая иногда высоты в десять-двенадцать метров.

ПОХОД ПО ИПАНЕ

Стоял конец января, самый разгар парагвайского лета, и день выдался исключительно знойный. Это была суббота. После обеда мы не работали и пользуясь этим, я сидел на сквознячке в нашей столовой и чинил свое "единоличное" седло, так как делать что-либо для себя у нас разрешалось только в свободное от "колхозных" работ время. Мое занятие близилось уже к концу, когда сбоку послышались сдержанные аплодисменты и передо мной предстал Лусиано.

— Ну как, дон Мигель, — спросил он после обмена приветствиями, — пойдем сегодня на Ипанэ? На закате рыбу половим, а после и поохотимся.

— Что ж, я с удовольствием...

— На реку, Михаил Дмитриевич? — вмешался сидевший тут же Миловидов. — А мне можно примазаться?

— Что за вопрос! А ты, Роберт, не пойдешь? — спросил я Полякевича, пившего чай за соседним столом.

— Я еще с ума не сошел. Тащиться по такой жаре пятнадцать верст только для того, чтобы доставить удовольствие речным комарам!

— Как будто здесь их мало! Впрочем, как хочешь. Кто еще с нами?

— Я бы пошел, — сказал Флейшер, — но из меня только что вытащили полсотни пик, так что ноги обречены на временное бездействие, а на бровях я до реки не доползу.

В конце концов нашлось еще двое желающих — Оссовский и Богданов. Захватив оружие, удочки, еду и объемистую флягу с каньей, через полчаса мы уже шагали по выжженной солнцем кампе, предводительствуемые доном Лусиано. Последний пришел в самое радужное настроение и говорил без умолку. Рассказы его касались главным образом охоты и я слушал их с интересом, мысленно стараясь отделить правду от традиционных в подобных случаях преувеличений.

— А что, дон Лусиано, — спросил Миловидов, — какие звери могут нам встретиться на Ипанэ?

— О, там есть тигры, пумы, кабаны, тапиры, карпинчо¹... Зверей всяких много. Но все они прячутся в зарослях и слышав людей ни один на открытое место не выйдет. Надо с вечера взобраться на дерево, возле тропинки, по которой они ходят на водопой, тогда ночью их можно увидеть и с дерева же стрелять. А еще лучше охотиться с лодки.

— Каким же образом? — поинтересовался Оссовский.

— Два или три человека садятся в лодку и тихонько подплывают ночью к местам водопоя. Один гребет, у другого наготове сильный электрический фонарь, а у третьего ружье. Зверь с реки опасности не ожидает, он выходит спокойно на берег, чтобы напиться и его внезапно освещают фонарем. На две-три секунды, он, ос-

¹ Карпинчо — местное название водосвинки. Это крупный грызун, величиною с небольшую свинью, живет, как бобр, преимущественно в воде. Мясо его очень вкусно.

лепленный, застывает на месте, в это время его легко застрелить.

— А можно здесь достать лодку? — спросил я.

— В Велене можно, а тут поблизости нет ни у кого. Теперь в наших местах люди боятся ночью выезжать на лодке.

— Чего боятся?

— Огромной змеей с собачьей головой. Она опрокидывает лодку, а иногда просто высовывает из воды голову на толстой как бревно шее и хватает человека.

— А вы когда-нибудь видели эту змею? — спросил я.

— Я, слова Богу, нет, но брат моей жены не только видел, но еле от нее спасся. Они, вдвоем с приятелем, года два назад, сделали маленькую лодку из "пало борачо"¹ и ночью выехали на Ипанэ охотиться. Вдруг лодка их поднялась и перевернулась. На его спутника бросилась громадная змея и утощила под воду, а сам он выбрался на берег.

В тот день я отнес этот рассказ к области чистых вымыслов. Однако позже расспрашивал других соседей и все они в один голос утверждали, что такая змея в Ипанэ действительно существует и многие ее видели. Вполне возможно, что это была анаконда. Ипанэ берет свое начало в джунглях Бразилии и оттуда, особенно во время сильных разливов, в нее свободно могла проникнуть даже не одна из этих исполинских змей. Вероятно люди ее и видели, а собачья голова, нападение на человека и все прочее было дополнено страхом и фантазией.

— Ну, змеей-то нас не больно испугаешь, — промолвил Миловидов, когда я перевел спутникам рассказ Лусиано. — Гораздо хуже то, что без лодки мы едва ли увидим хоть одного зверя крупнее комара.

— Все зависит от случая, — сказал Лусиано. — Полгода тому назад, на том самом месте, куда мы

¹ Пало борачо, — дословный перевод "пьяное дерево", — или бутылочное дерево, его ствол, с очень мягкой древесиной, раздут наподобие бутылки.

идем, я ночью отбивался от тигра горящими головешками.

— Как так? Почему же вы не стреляли?

— Не было со мной ружья. Пришел я с удочками, половил к вечеру рыбу, потом развел костер, закусил, напился терере и заснул. Ночью послышалось, будто кто-то тихонько зарычал рядом. Поднял голову и вижу, в нескольких шагах стоит тигр и хвостом крутит. Ну, к счастью в костре еще тлели головешки — схватил одну и запустил в зверя, он и убежал. Хорошо, что не напал на спящего.

Напомню, что тиграми здесь называют ягуаров. Этот рассказ Лусиано был довольно правдоподобным: судя по всему, что я слышал, ягуары никогда не нападают на людей, если имеют возможность этого избежать. Один мой приятель подстерегал ягуара, сидя на нижних ветвях дерева, и, неудачно повернувшись, свалился у него перед самым носом. Падая, он уже заранее считал себя растерзанным, но зверь во всю прыть пустился наутек. Опасен только раненый ягуар, в этом случае он всегда бросается на охотника.

За разговорами мы прошли километров восемь. На кампе стали попадаться мелкие болотистые лагуны, из которых при нашем приближении небольшими стаями поднимались дикие утки. Мимоходом я застрелил двух, но против продолжения охоты мои спутники запротестовали: как это так, идем на крупного зверя и вдруг разменяемся на уток! Не очень надеясь на крупного зверя, я все же подчинился. Мы прошли еще с версту и уперлись в изгородь огромной скотоводческой эстанции, которая преградила нам путь к реке.

— Пройдем прямо, — сказал Лусиано, перелезая через проволоку. — Так нам до берега всего пять километров, а в обход будет больше двадцати.

Мы последовали его примеру и очутились на необозримом пастбище. В отличие от казенной кампы, трава здесь была высокая и свежая. Кое-где виднелись небольшие рощицы и пасущиеся стада, но никаких признаков жилья или присутствия человека заметно не было — вероятно, хозяйственный центр поместья находился за много верст отсюда. Владения здешних "эстансиеро" измеряются не гектарами и даже не ки-

лометрами, а квадратными легвами, это мера, равная двадцатипяти квадратным километрам. Скот, пасущийся на этих необъятных пространствах редко видит человека и благопристойными манерами отнюдь не отличается, в чем нам суждено было убедиться очень скоро.

Держа направление на прибрежный лес, мы прошли около версты, когда я заметил шагах в тридцати небольшого броненосца. Довольно неуклюжее животное, величиною с таксу, покрытое твердым панцирем с растущей на нем жиденькой щетиной, двигалось очень медленно, но заметив опасность, прибавило ходу, надеясь, очевидно, добраться до своей норы. Однако я был проворнее и поняв, что ему не уйти, броненосец внезапно остановился, приставил морду к земле и на моих глазах начал погружаться в нее как в масло, несмотря на то, что она была суха и тверда как кирпич. Он закапывался с такой быстротой, что пока я пробежал разделявшие нас десять шагов, из земли торчали только задние лапы и довольно толстый хвост, за который я его сейчас же схватил, не сомневаясь в том, что без труда вытащу наверх.

Однако, не тут-то было! Он, видимо, растопырился в своей дыре, продолжая работать передними лапами, и сколько я его не тянул, сначала одной рукой, а потом обеими, крепко упершись ногами в землю и напрягая все силы, — он не только не поддавался, а наоборот, продолжал погружаться, хотя и более медленно. Вскоре мне пришлось выпустить хвост, так как и он уходил под землю. Через несколько секунд передо мною оставалась только круглая как труба дыра.

Во время моего единоборства с броненосцем, все остальные столпились вокруг, наблюдая происходящее, и по сторонам никто не смотрел. Теперь мы подняли головы и сразу почувствовали себя не очень уютно: шагах в пятнадцати стоял огромный горбатый бык-зебу и, глядя на нас налитыми кровью глазами, рыл копытами землю.

— Серьезный бугай, — кисло заметил Богданов. — И что хуже всего, он, видимо, находится в неважном настроении.

— Да, мы, ему определенно не нравимся, — добавил Миловидов. — Вы бы, Михаил Дмитриевич, приготовили на всякий случай ружьишко, у вас калибр самый подходящий. Я, по правде сказать, не испытываю никакого удовольствия, когда меня быки поднимают на рога.

Положение было поганое. В агрессивных намерениях животного не могло быть сомнений, а вокруг растилась ровная, как блин, поле и деваться было некуда. Сразить такую махину из дробового ружья или из револьвера тоже было мудрено, не говоря уж о том, что забравшись без спросу в чужие владения, никак не подобало стрелять племенного быка, который, не в пример нам, находился здесь на совершенно законном основании.

Стоять на месте было хуже всего и потому, поминутно оглядываясь, мы пошли дальше. Бугай немедленно двинулся вслед, сохраняя прежнюю дистанцию, но зловеще мыча и накаляясь с каждой минутой. По пути к нему присоединилось несколько коров. Эта свита увеличивалась с каждым шагом и вскоре за нами по пятам следовало уже целое стадо.

Впоследствии мне не раз случалось ездить через эстансии верхом, и скот не обращал на меня ни малейшего внимания. Конных гуачо¹ ему приходилось видеть очень часто, а потому фигура всадника животным хорошо знакома и привычна. Пешеход же для них был диковиной, которая своим странным способом передвижения на двух ногах вызывала любопытство и явное неодобрение.

— Ну, братцы, держись! — обернувшись назад крикнул Оссовский. — Чертов бугай, кажется, идет в атаку.

Бык, в самом деле, пригнул голову к земле и перейдя на рысь принялся настигать нас. Мы такую возможность уже, конечно, предвидели и дружно сняли с ремней двустволки. Было решено дать первый выстрел в воздух, а если это не поможет, палить по быку. Однако, нас опередил Лусиано: он внезапно подскочил к животному и не очень громко, но повелительно крик-

¹ Гуачо — южноамериканский ковбой.

нул ему несколько непонятных нам слов. К общему удивлению, бугай внезапно остановился, в раздумьи посмотрел на нас, уже без всякой злобы, хлестнул себя раза два хвостом по бокам и спокойно побрел в сторону. Без него помаленьку отстали от нас и коровы.

— Ну, слава Богу, сговорились, — с облегчением промолвил Миловидов. — Если бы Лусиано не оказался лингвистом, плохо бы кончилось наше дело.

Пройдя еще с версту, мы подошли к опушке и отыскав ведущую к берегу тропинку, нырнули в парниковую духоту леса. Узкая просека шла под уклон и благодаря переплетавшимся над головой ветвям, походила на туннель, в наступающих сумерках казавшийся мрачным и жутким.

Если в кампе в такую жару комары не очень нам докучали, то здесь они набросились на нас, как вампиры. Выломав по ветке, мы отмахивались от них до изнеможения, десятками давили ладонями на своих лицах, но думаю, что если бы этот зеленый туннель оказался вдвое длиннее, они бы успели сожрать нас заживо.

Наконец впереди посветлело, сквозь заросли показалась спокойная гладь реки и мы вышли на узкую прибрежную поляну, покрытую густой травой. Взглянув на своих спутников, я в первый момент растерялся: три распухшие и перепачканные кровью физиономии показались мне совершенно незнакомыми. Вероятно и я был не лучше. Только Лусиано выглядел таким, как всегда, и казалось, что ни один комар его не тронул.

НОЧЬ НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

Место, куда мы вышли, было экзотически красиво и живописно. На противоположный берег реки непроницаемая стена леса надвинулась вплотную, не оставив малейшей кромки свободной земли. Прямо из воды там высились заросли гигантского бамбука; выше огромные деревья простирали над водой свои ветви, с них длинными змеями свешивались лианы.

Наш берег представлял собой узкую поляну, за которой, всего в десятке метров от воды, начинался лес. Солнце уже скрылось за его всклокоченными вершинами, густые тени перекрыли реку и на землю неестественно быстро набегала ночь.

Не теряя времени я хотел выкупаться, но подойдя к реке сразу понял, что это обойдется мне слишком дорого: над водой клубились рои комаров. Все же, после лесной тропы, нам показалось, что на поляне их не так уж много, и размотав удочки, мы попробовали удить. Вопреки предсказаниям Лусиано, рыба не ловилась и даже не клевала, но зато комары действовали так успешно, что через четверть часа руки у нас вспухли, как подушки. Наконец Оссовский не выдержал:

— Ну ее к черту, такую ловлю! — возопил он, бросая удочку. — Рыбка плавает по дну и смеется, а нас уже доедают эти проклятые твари! Вы как хотите, а я плюю на это дело и развожу костер.

Мы вполне разделяли сделанную им оценку положения, а потому, прикрыв ловлю, принялись собирать на опушке сухие ветви и полукругом раскладывать большой костер. На берегу остался один Лусиано. Ему, казалось, все было нипочем: засучив повыше штаны и рукава, расстегнув на груди рубаху, он сидел в облаке комаров и спокойно удил.

— Неужели вас не кусают, дон Лусиано? — спросил я.

— Не знаю, может быть и кусают, да я не чувствую.

Надо сказать, что со временем и многие из нас в той или иной степени к комарам привыкли, очевидно в организме выработался своего рода иммунитет. Первое время у меня, как и у всех других, укусы нестерпимо чесались и опухали, а через несколько лет я их совершенно перестал чувствовать.

Наконец вспыхнул костер, в него подбросили охапку свежей травы и мы, подсев к огню, утонули в облаках густого дыма. Возле костра было жарко как в пекле, но комары почти не кусали и из двух зол надо было выбирать меньшее.

— Должно быть, комарье только в вечерние часы так свирепствует, а ночью будет полегче, — промолвил Богданов.

В ожидании этой счастливой, но проблематичной перемены мы, обливаясь потом, продолжали коптиться у костра. Убедившись, что рыба сегодня не ловится, к нам подсел и Лусиано. То и дело подбрасывая в огонь валежник и траву, все, кроме него, ожесточенно скребли ногтями искушенные тела и не жалея "технических терминов" выражали свое полное разочарование в прелестьях реки Ипанэ.

Обступивший нас лес налился, между тем, чернильной тьмою и стал наполняться невидимой и таинственной ночной жизнью. В нем слышались какие-то загадочные шорохи и трески, в вершинах вещими голосами переговаривались совы, внизу то тут, то там тоже что-то бормотало, попискивало и фыркало. И начинало казаться что заросли на опушке вот-вот раздвинутся и на поляну выступит ягуар.

Шагах в десяти от нас, возле самого берега, в реке раздался сильный всплеск, по воде пошли медленно ширящиеся круги и в их центре, как в гигантском жабо, показалась голова крокодила, уставившаяся на огонь маленькими вздутыми глазками. Я встал, чтобы взять ружье, которое лежало чуть поодаль, но голова сейчас же исчезла. Минуты через две она, а может быть и другая, выставилась из воды значительно дальше. Посреди реки, в световых бликах нашего костра, высоко выбрасываясь, играла крупная рыба.

— Ну что ж, господа, давайте ужинать, — промолвил Миловидов. — Пока вздуем чаек и закусим, может быть комары и вправду разлетятся по домам, тогда снова попробуем поудить.

Предложение было принято единодушно. Пока хозяйственный Богданов разворачивал и раскладывал на траве нашу снедь, а в чайнике над костром закипала вода, Оссовский и Миловидов, захватив мачете, отправились на опушку, чтобы заготовить на всю ночь запас дров. Я тоже притащил на поляну несколько сухих сучьев, а потом взял ружье и подошел к берегу, высматривая ка-

кого-нибудь зазевавшегося крокодила, чтобы хоть на нем выместить все постигшие нас неудачи.

— Михаил Дмитриевич! — раздался из леса голос Миловидова. — Если не заняты, идите-ка сюда.

— А в чем дело? — не оборачиваясь откликнулся я.

— Да вот, нашел здесь роскошную дровиняку, но один не подниму. Если вдвоем осилим и притащим ее к костру, на всю ночь хватит.

Через минуту я был возле Миловидова и карманным фонариком осветил находку. Это был обломок сухого и довольно толстого древесного ствола, длиной метров в пять. Он оказался сравнительно легким, и подняв его на плечи, мы зашагали к нашей стоянке.

— Что за черт, — ворчал идущий сзади Миловидов, — лазит какая-то сволочь по шее... Мать честная, да сколько же их тут...

По содроганию бревна я чувствовал, что с моим спутником творится что-то неладное. До костра оставалось не больше пяти метров, когда задний конец ствола внезапно упал на землю.

— Ох, будьте вы прокляты! — одновременно взревел Миловидов. То, что вслед за этим посыпалось с его языка, было исполнено весьма художественно, но отнюдь не для печати. Еще не понимая в чем дело, я тоже сбросил свой конец бревна на землю и обернувшись не мог удержаться от хохота.

Усатый и солидный Миловидов с темпераментом вакханки откалывал какой-то дикий танец. С его носа слетели очки, но вместо того, чтобы поднять их, он, свирепо ругаясь, продолжал кружиться вихрем, выбрыкивая ногами и к полному удовольствию комаров с необычайным проворством срывал с себя все, что на нем было одето.

Инстинктивно взглянув на себя, я сразу понял причину его экстравагантного поведения: мои ноги почти до самого пояса были покрыты разъяренными муравьями. Впотьмах поднимая бревно, мы не заметили, что оно полое внутри и представляет собой гигантский муравейник. Главный выход был со стороны Миловидова и его атаковали первым, но едва лишь дерево шлепнулось на землю и

расколосось, все его многомиллионное население хлынуло наружу и набросилось на меня. Высокие сапоги, шаровары и заправленная в них рубашка вначале предохраняли от укусов, но до шеи и головы муравьям оставалось недалеко и потому, не теряя времени, я выпустил звонкую трель проклятий и вступил в открытый Миловидовым ба-лет.

Обдумывать порядок раздевания было некогда и я сдуру прежде всего сорвал с себя рубаху. Муравьи сразу полезли на голое тело, вонзая в него десятки иголок. В минуту за рубахой последовали сапоги и шаровары, но и тело мое уже было густо облеплено муравьями, которые жгли, как огнем, а потому я тигром подскочил к реке и бросился в воду.

— Смотри не покусай крокодила! — крикнул мне вдогонку Оссовский, хохоча во все горло и указывая на что-то пальцем.

Однако смеяться, оставаясь зрителями, ему и Богданову пришлось недолго: воспользовавшись их беспечностью и весельем, заливавшие полянку муравьи добрались и до них. Теперь уже я, сидя по горло в воде, от души хохотал, глядя как в желтых отблесках костра они прыгали по берегу взбесившимися козлами и срывали с себя одежду. Лусиано был благоразумней и своевременно отошел в сторону шагов на сто.

Избавившись от муравьев, но вместе с ними и от одежды, мы, четыре злых, беспомощных и голых человека, приплясывая от зуда, стояли теперь под деревом, заживо поедаемые комарами, вдали от костра. Подойти к нему не было никакой возможности, ибо вокруг, радиусом в двадцать метров, все было покрыто шевелящейся кашей муравьев.

— Теперь не хватает только змеи с собачьей головой, — мрачно пробурчал Оссовский.

Остаться и дальше в таком положении было невозможно, надо было что-то предпринимать. После короткого совещания, мы собрали поблизости ворох сухой травы и валежника, а затем я подошел по воде

как можно ближе к нашей прежней стоянке, последние десять шагов пробежал по муравьям и выхватив из костра горящую головешку, таким же порядком возвратился к своим. Мы разожгли новый костер и немного оправившись возле него от пережитых злоключений, принялись по очереди кидаться бегом в захваченный муравьями лагерь и вытаскивать оттуда наши вещи. При этом снова нас порядком искусали, но через полчаса из муравьиного ада было спасено все, кроме потерявшихся очков Миловидова и нашей еды, которую без остатка уничтожили враги. Из всего предполагавшегося ужина уцелела только фляга с каньей.

— Хорошо еще что непьющие, гады, попались, — бормотал Миловидов, наливая всем по стаканчику. — Ах, будь они прокляты! Сто лет проживу, а этого им не забуду.

Однако, на этом наши несчастья не кончились: час спустя муравьи атаковали нас снова. Ими кишел весь берег, вероятно, на помощь тем, которых мы потревожили, из леса подходили все новые полчища. На этот раз их приближение вовремя заметил Лусиано и это дало нам возможность отступить в относительном порядке. Уйдя по берегу на полкилометра ниже, мы развели третий костер и возле него закончили эту веселую ночь.

Впрочем, спать нам почти не пришлось: невыносимо чесалось и ныло искусанное тело, возле костра было жарко как на сковородке, а отодвинуться от него не давали комары. Даже здесь, если человек лежал лицом к огню, они через одежду десятками впивались ему в спину.

Задремав перед рассветом, я внезапно проснулся от какого-то адского шума. Было уже светло и в зарослях, где-то совсем близко, стая ревунов неистовым гвалтом и хрюканьем приветствовала восходящее солнце. Лусиано копошился у костра и грел воду для матэ. Остальные тоже подняли обезображенные комарами бульдожьих физиономии и вспомнив, что есть нечего, заторопились домой.

Через полчаса мы покинули берег. В сотне шагов от того места, где мы ночевали, Лусиано показал нам следы тапиров, ночью подходивших к воде.

НАШЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

Первое время молоко для нужд колонии мы продолжали покупать у менонита, но, разумеется, сразу же было решено завести собственных коров. Осуществить это намерение можно было очень легко и просто, но затруднение возникло в выборе. Дело в том, что парагвайские коровы дают ничтожное количество молока. Полтора-два литра в день здесь считалось нормальным удоем, три — это уже очень хорошо, четыре создают корове широкую известность, а о дающих больше мне случалось слышать только восторженные рассказы, похожие на легенды.

Причиной такой низкой удойности не берусь объяснить, но думаю, что тут играет роль и порода, и недостаток питания, и полнейшая коровья беспризорность. Выдоить здешнюю полудикую корову тоже нелегко, не говоря уже о том, что ее предварительно нужно отыскать на кампе или в чужих плантациях и поймать. Учитывая эти обстоятельства, парагвайцы из всех своих коров доят обычно какую-нибудь одну или двух, наиболее покладистых, вполне удовлетворяясь тем количеством молока, которое они дают, и отнюдь не стараясь повысить удойность каким-либо уходом и заботами о животных.

Задумав приобрести первую корову, Керманов категорически заявил, что никаких дегенератов, дающих два или три литра молока, он не потерпит, а хочет такую, которая давала бы не меньше шести. Всем окрестным жителям было объявлено, что если подобная корова найдется, колония ее купит и за цену не постоит.

Несмотря на столь заманчивые посулы, в течение долгого времени никаких предложений не поступало по той простой причине, что "шестилитровых" коров в округе вообще не было. Наконец, в один прекрасный день явился некий парагваец, заявил, что подходящая корова у него есть и что он приглашает наших представителей на пробную дойку.

Немедленно была составлена особая комиссия из "знатоков", которая, во главе с диктатором и завхозом, в назначенный час прибыла на место испытания.

Невзрачная на вид черная коровенка, привязанная к забору, произвела на экспертов довольно жалкое впечатление, которое, впрочем, быстро рассеялось, когда присевшая к вымени баба бойко выдоила из нее три с половиной литра молока.

— Отличное молоко! — определил Воробьянин, сделав глоток и с ученым видом рассматривая содержимое ведра. — Густое, белое и витаминов до черта.

— Да, но это все-таки не шесть литров, — буркнул Керманов.

— Корову доят два раза в день, — любезно пояснил парагваец. — Вечером она даст еще три литра.

Это объяснение вполне удовлетворило комиссию и за чудесную корову тут же было уплачено полторы тысячи пезо, что превышало нормальную цену приблизительно вдвое. Теленок шел в виде бесплатного приложения.

Штатным коровником был назначен Воробьянин, имевший неблагоразумие по пути в Парагвай прочесть какую-то брошюру о молочном хозяйстве и выступить с соответствующим докладом. Это создало ему репутацию специалиста, хотя в душе каждый понимал, что в коровьих делах он смыслит не больше, чем остальные. Вполне сознавал это и сам Воробьянин, в рекордно короткий срок успевший возненавидеть свою питомицу всеми фибрами души стопроцентного горожанина. Да и было за что: едва лишь кончалась дневная работа и публика шла отдыхать, ему сообщали, что корова удрала в лес или скрылась в буйных зарослях кукурузы. Несчастный опекун хватал веревку и с проклятиями отправлялся на поиски. Иногда проходило часа два прежде, чем ему удавалось ее поймать и привести к месту предстоящей дойки. В обеденный перерыв, когда все предавались сиесте, ему тоже постоянно приходилось вставать и выгонять корову из наших посевов, куда она забиралась за неимением пастбища.

Обязанности доярки приняла на себя невеста Флейшера, Любаша. Ее познания в этой области тоже были чисто теоретическими, но все же она не боялась коров, как прочие наши дамы. И если ей доводилось видеть, как доят в Европе, то в Парагвае это принесло мало пользы: наша корова просто так, за здорово живешь,

доить себя не позволяла, и чтобы получить молоко приходилось соблюдать довольно сложный ритуал.

Корову привязывали к столбу и кто-нибудь становился возле ее головы с целью заслонять доярку и отвлекать коровье внимание от событий, развивающихся сзади; Воробьянин держал жертву за хвост, чтобы она им не хлестала, и дирижировал всем спектаклем; Любаша, пряча за спиной ведро, становилась поблизости, легонько напевая и всем своим видом стараясь показать корове, что молоко ее интересует меньше всего на свете; четвертый персонаж манипулировал теленком. Остальные присутствующие распределялись на роли ассистентов, советчиков, тореадоров и просто зевак.

Когда все бывали по местам, теленка подпускали к матери и он с жадностью начинал сосать. Затем, уловив удобную минуту, его оттаскивали в сторону и подкраившаяся кошкой Любаша принималась доить. Обычно корова оставалась в заблуждении очень недолго и заметив подлог, норовила вышибить из-под себя ведро, хлестнуть доярку хвостом или кого-нибудь боднуть. Для успокоения ее нервов к вымени снова подпускали теленка и т.д.

Но что казалось самым удивительным, более двух литров в день из коровы никак не удавалось выдоить. Вначале это приписывали неумению Любаша, потом решили, что корова мало ест. Помимо травы, ей стали давать маниоку и кукурузу, все время увеличивая рацион. Цопи, как звали корову, ела с отменным аппетитом, но молока давала все меньше. Так как в брошюре Воробьянина было сказано, что с коровой надо обращаться ласково, как с женщиной, процедуру доения тоже усложнили, постепенно превратив ее в домашний цирк. Перед коровой теперь наваливали, подобно жертвоприношению, целую кучу ее любимых блюд. Остряки подходили с гитарами и пели ей романсы. Цопи и все с ней связанное сделалось излюбленным объектом зубоскальства и всевозможных шуток. Воробьянин катастрофически быстро седел и из добродушного человека превращался в угрюмого неврастеника. Теперь даже тетя Женя не решалась его пилить, ибо было ясно, что он способен на все, вплоть до убийства.

Какой трюк проделали с коровой на "смотре" ее прежние хозяева, для нас осталось тайной, но то обстоятельство, что ее действительный тоннаж не превышает двух литров, выяснилось с полной очевидностью. Но и этот удой, несмотря на все наши заботы (а может быть и благодаря им) неукоснительно падал. Когда месяца через три, Цопи начала давать меньше литра в день, поедая при этом кукурузы на стоимость десяти литров, Керманов решил ликвидировать это явно убыточное предприятие и от коровы отделаться. Но и это было не просто: продать ее по себестоимости нечего было и думать, а отдать за полцены не позволяло самолюбие.

Наконец выход был найден: корову согласился взять на выпас, к себе на эстансию, наш сосед, помещик Бонси, за что мы ему платили десять пезо в месяц. Таким образом, Цопи вышла на пенсию, и этот печальный пример отбил у нас всякую охоту к покупке других коров. Да в этом не было и смысла. Тот же Бонси, узнав о наших молочных неурядицах, предложил ежедневно поставлять любое количество молока по полтора пезо (одна треть северо-американского цента) за литр, чем мы в дальнейшем и пользовались.

О нашем "свиноводстве" говорить не стоит: дюжина свиней, купленных нами вместе с чакрами, просуществовали недолго: часть передохла, остальных успели вовремя съесть. Керманова эта отрасль хозяйства совершенно не интересовала, а так как в колонии все зависело исключительно от его решений, тем дело и кончилось.

Немногим лучше было и с курами. Чтобы предохранить их от всевозможных мелких хищников, был только один надежный способ: огородить мелкой проволочной сеткой с боков и сверху. Но это было нам не по карману и мы пытались заменить ее всякими самодельными ограждениями, которые нисколько не помогали, и даже наоборот: куры вылезти наружу не могли, и куроеды без труда проникали внутрь. Опоссумы, удавы, игуаны, крысы и прочие лесные гастрономы стали рассматривать наш курятник как бесплатный и очень удобный ресторан, поедая птицу, не имею-

щую возможности ни спрятаться, ни спастись бегством.

Когда мы догадались выпустить кур на свободу, дело пошло гораздо лучше и потери сократились во много раз. Но куры начали нестись в зарослях и добрая половина яиц для нас пропадала, их невозможно было найти. Иногда какая-нибудь курица исчезала, а через месяц появлялась из леса с выводком цыплят. Обычно же, чтобы спасти наседку и дать ей возможность высидеть потомство, приходилось устраивать гнездо под чьей-нибудь кроватью, да и там нередко на нее нападали крысы.

Из крупной живности "колхоз" обладал четырьмя волами и пятью лошадьми (кроме этого, у многих были собственные). Разумеется, такое ничтожное количество рабочего скота не могло удовлетворить потребностей колонии, тут каждая крестьянская семья имела его гораздо больше, ибо при здешних дорогах только в одну телегу следовало впрягать шестерик волов. Керманов это понимал так же хорошо, как и все остальные, но из упрямства, посадив колонию в таком месте, где не было пастбища, ему только и оставалось делать вид, что купленного скота нам вполне достаточно. Животных приходилось кормить маниокой и кукурузой, первое время, пока были деньги, для них даже покупалось пресованное сено в Концепсионе, и при увеличении поголовья это было бы, конечно, чересчур накладным.

О наших лошадях я уже писал, а волов мы купили на эстансии Бонси, уплатив за каждого по 1.300 пезо (около трех долларов). Они были уже приучены к упряжке, работали хорошо и были послушны, если не считать некоторых общеволовьих слабостей. Одна из них заключается в том, что если впряженные в телегу волы заметят поблизости лужу, хочется им пить или не хочется, они все равно свернут с дороги, и обмакнув морды в воду, будут стоять, делая вид что пьют, хоть до трубы архангела, если вы недостаточно энергично действуете палкой. Таким же законным основанием к отклонению от пути, с воловьей точки зрения, служит валяющийся в стороне апельсин. В часы наибольшего зноя они иногда, будто сговорившись, разом выходят

из состояния обычной флегмы и сменив черепаший шаг на бодрую рысь, тащат телегу в тень ближайших деревьев, откуда их чрезвычайно трудно выгнать обратно на дорогу и лучше всего, если позволяет время, дать им получасовую передышку.

Наши волы переносили жару довольно легко, за исключением одного, который был черного цвета. Решив, что в этом и заключается корень зла, Керманов, не долго думая, приказал вырядить его в белый балахон и чепчик.

Получив заказ на этот, не предусмотренный никакими модными журналами туалет, наши дамы сначала долго смеялись, а затем, обсудив фасон, сняли с вола мерку и два дня спустя обмундирование было готово.

Бедный Жених, как звали этого вола, в своем наряде имел вид до чрезвычайности удрученный. Грустными глазами выглядывая из-под чепчика, он как бы спрашивал умирающую от смеха публику — за что так надругались над его воловьей старостью? Однако обстоятельства вызволили его из этой неприятной истории: глядя на белый саван, остальные волы очевидно принимали своего коллегу за привидение и шарахались от него как черти от креста. Впрямь кого-либо из них в одну телегу с Женихом было совершенно невозможно и поневоле пришлось навсегда снять с него чехол.

ВРЕДИТЕЛИ

Из мелких сельскохозяйственных вредителей самым упорным и постоянным является муравей, о котором я уже говорил достаточно. Периодически налетает саранча. В те два года, которые я провел в Парагвае, ее не было, но уже в следующем она нанесла земледельцам чувствительный урон и в районе нашей колонии уничтожила почти все плантации хлопка.

Есть и множество других губительных для посевов насекомых, например черви, пожирающие кукурузу, жучки, портящие хлопок, гусеницы, объедающие табачные листья и т. п. С ними надо вести постоянную

борьбу, а это при парагвайской бедности чрезвычайно трудно. Правительство в этом отношении никакой помощи крестьянам не оказывало и им оставалось защищаться малоэффективными "кустарными" способами и в основном полагаться на волю случая: иной год вредителей было сравнительно немного, и урожай от них заметно не страдал, а иногда они появлялись в огромных количествах, и труд земледельца оказывался почти напрасным. Отчасти здешние крестьяне страхуются тем, что сеют примерно в одинаковом количестве несколько различных культур. Расчет прост: если год будет скверным для хлопка, спасет кукуруза, а если и ее съедят, — выручит земляной орех.

В мое время газеты нередко печатали письма колонистов из других областей страны, в них встречались жалобы на попугаев, обезьян и диких свиней, будто бы приносивших огромный вред плантациям. Несомненно, все это (за исключением, может быть попугаев) грешило сильными преувеличениями. В ту пору объективной информации о Парагвае вообще почти не было и в подобных описаниях применялись только две краски: черная или розовая, в зависимости от настроений и целей автора или организации, которая его письмо опубликовала.

У нас различных попугаев было много. Самая распространенная порода — зеленые, величиной с голубя; они с резким, неприятным криком летали большими стаями и иной раз садились на нашу кукурузу, но отогнать их было нетрудно и особых убытков они нам не приносили. От обезьян мы никакого ущерба не терпели и даже редко их видели, а что касается диких кабанов, то это уж чистый вымысел.

Удивительно то, что никто из писавших о Парагвае не коснулся самого страшного вредителя посевов, обыкновенной коровы. Для плантаций рядового земледельца, недостаточно богатого, чтобы огородиться абсолютно надежной изгородью, она является врагом постоянным и воистину беспощадным.

Коровы, принадлежащие помещикам-скотоводам, в счет, конечно, не идут: они изолированы от внешнего мира прочной оградой, кроме того, при наличии прекрасных пастбищ у них нет ни малейшей необходимо-

сти заниматься разбойными набегами. Но совершенно иное положение у крестьянского скота, который хозяева не кормят, предоставляя ему самому заботиться о своем пропитании. Короче говоря, его выгоняют за ворота и весьма мало интересуются — где он бродит и что делает. Такой скот ведет полудикий образ жизни и домой наведывается редко, ибо знает, что ни корм, ни иные радости его там не ждут.

В лесных областях, как наша, перед каждой группой чакр обычно имеется поляна с не ахти какой пышной растительностью. Уже в самом начале лета толкущийся на ней скот съедает и вытаптывает все до травинки, а дальше перебивается в зависимости от способностей. Вот тут-то и начинается трагедия земледельца.

Нужно сказать, что человек, который никогда не видел хронически голодающей коровы, вообще не имеет представления об этом животном. Между сытой и голодной коровой приблизительно такая же разница, как между аркадской пастушкой и каннибалом с Соломоновых островов. У нее в корне меняется не только характер, но даже умственные и физические способности.

В голодающей корове гармонически сочетаются хитрость лисы, упрямство осла, смелость носорога и изобретательность Эдиссона. Она перепрыгивает через полутораметровую изгородь с легкостью антилопы. Если ограда чересчур высока, она тщательно исследует ее пядь за пядью, на протяжении многих сотен метров, толкая плечом каждый столб и где-нибудь найдет уязвимое место. Иной раз она совершает глубокий обход лесом, пробиваясь через такие заросли, где не протиснуться даже собаке, и появляется на ваших плантациях с незащищенной стороны, а в случае погони проваливается как сквозь землю, ибо великолепно запоминает свою лазейку. Иногда коровы являются в одиночку, а чаще целым стадом, выбирая время для налетов преимущественно ночью и предусмотрительно ретируясь перед рассветом.

К середине февраля все маниочные и кукурузные плантации имеют уже довольно жалкий вид. Спасти их от коровьих нашествий практически нет никакой воз-

возможности, и парагваец смотрит на них, как на неизбежное зло, утешаясь тем, что если он пострадал от чужого скота, то и его собственный в это время питается за счет соседей.

У нас в колонии война с коровами началась почти сразу и порой принимала самые неожиданные формы.

Прежде всего с протянутых возле жилищ веревок по ночам стало исчезать вывешенное для просушки потное белье. По поводу этих загадочных хищений строились всевозможные гипотезы, пока, наконец, случайно не выяснилась истина, никакими гипотезами не предусмотренная. Однажды спящий в гамаке Миловидов сквозь сон услышал над ухом какое-то чавканье и открыв глаза увидел почти над головой коровью морду, изо рта которой свешивался рукав его собственной рубахи. Пораженный этим зрелищем, он вскочил, но корова исчезла с быстротой и легкостью призрака.

На следующий день в колонии только и говорили о корове, пожирающей белье. Но в этом факте не было ничего особенно удивительного: парагвайцы не давали своему скоту соли, а она ему необходима и потому пропитанная потом рубаха для здешних коров является деликатесом. С неменьшим удовольствием они поедали мыло, если его находили, и вообще все, в чем заключалось хотя бы ничтожное количество соли.

Второй случай произошел с хлебом. У нас его выпекали два раза в неделю и складывали под столовым навесом, где для этого был устроен особый, открытый спереди шкаф. Однажды утром завхоз обнаружил пропажу четырех буханок. Решительно никаких следов похититель не оставил и мы не знали, что и думать. Собаки достать хлеб из шкафа не могли, трудно было также предположить, что ради такой добычи к нам ночью залез кто-то посторонний. Случай между тем повторился. Опять строились самые хитроумные догадки, а хлеб стал пропадать все чаще. Наконец Керманов распорядился, чтобы по ночам в столовой сидел вооруженный страж, которому вменялось в обязанность поймать вора. В продолжении недели караульные ничего подозрительного не заметили, хлеб оставался цел, и только. Наконец настала моя очередь. Взявши револьвер и электрический фонарик, в оди-

надцать часов ночи я прибыл под навес и растянулся на скамейке возле хлебного шкафа. Опасности заснуть не было, так как комары сложив лапки не сидели.

Прошло часа полтора, когда вдруг на одной из соседних чакр раздались три выстрела. На обычную стрельбу тут внимания никто не обращал, но три выстрела подряд, с равными промежутками, означали сигнал тревоги, услышав который, по неписанному закону таких трущоб, как наша, соседи должны были спешить на помощь.

Все же, привыкнув к тому, что вокруг царят мир и спокойствие, я подумал что это какое-то недоразумение и остался на месте. Однако через несколько минут сигнал повторился и я счел за лучшее пойти разбудить Керманова.

Будить его не пришлось, так как за час до этого "лавочников" выгнали из постелей муравьи-санитары, и пока у них под навесом шло истребление всего съедобного и живого, они сидели у костра под соседними деревьями. Стрельбу здесь тоже слышали, но все были до того устали и злы, что решили на нее не реагировать. И, как выяснилось на следующий день, поступили правильно: стреляла подгулявшая компания, которая хотела тревожным сигналом привлечь на свою чакру гостей.

Я направился обратно в столовую, стараясь на всякий случай подходить бесшумно, и поймал вора с полничным: под навесом стояла корова и засунув голову в шкаф уписывала хлеб. Достоинно удивления то, что она не оставляла ни объедков, ни надкусанных хлебов, вообще никаких следов своего визита — съедала аккуратно, до последней крошки три-четыре хлеба и уходила.

Но, конечно, рубахи, хлеб и прочие мелочи поедалось только мимоходом, главной же целью коровьих вторжений были наши плантации. После нескольких первых набегов, Керманов приказал проверить ограду и укрепить ее всюду, где она окажется непрочной. Это было сделано, но на следующий день у нас в маниоке по обыкновению паслась дюжина коров. Когда за ними погнались, они побежали к изгороди и, легко через нее перемахнув, очутились в безопасности. К ней после

этого добавили еще два ряда проволоки, тогда коровы начали по ночам выворачивать колья, на которых она держалась. Мы заменили колья крепкими столбами, но и это не помогло: коровы стали вторгаться к нам через лесные заросли, которые казались надежней любой изгороди. Выгонять их приходилось по несколько раз в день, а ночами они у нас хозяйничали совершенно безнаказанно.

Некоторых мы уже хорошо знали. Заметив какую-нибудь особенно зловредную тварь и выяснив, кому она принадлежит, Керманов пробовал жаловаться хозяевам. Те только руками разводили: "Что же мы можем поделаться? У нас у самих не лучше". Один даже разрешил убить его корову, которая была особенно вредной, и просил только отдать ему шкуру. Разумеется, не желая портить отношения с соседями, мы его разрешением не воспользовались.

Сколько мы этих коров не гнали и не били, они лезли к нам все настойчивей и в возрастающем количестве. Дошло до того, что поминутно приходилось выгонять целое стадо, голов по пятнадцать-двадцать. В этом обыкновенно принимало участие много народу, пешего и конного, так что получалось нечто похожее на парфорсную охоту. Вначале мы действовали исключительно палками, затем по коровам стали стрелять дробью, сначала мелкой, а под конец чуть ли не картечью. Каждый житель колонии ненавидел коров этой ненавистью, но она оставалась бессильной.

Разумеется, так обстояло дело в местах, лишенных пастбища. Там, где оно было, на потравы никто особенно не жаловался — они случались, но такого злого характера не носили.

ЭСТАНСИЯ БОНСИ

Скотоводческая эстансия, принадлежавшая помещику Бонси, находилась в десяти верстах от нашей колонии и мы с нею имели тесные связи, как торговые, так и дружеские. Там покупали мы лошадей, волов и некоторые строительные материалы, оттуда получали молоко и мясо.

Ее владелец, уже пожилой, но очень подвижный и добродушный человек, по крови был итальянцем. Его родители эмигрировали в Парагвай когда он был еще мальчиком. Семья была бедная и ему пришлось начинать свой жизненный путь с должности приказчика в каком-то маленьком провинциальном магазине. Однако, как большинство итальянцев, он был сообразителен, энергичен и трудолюбив, что и сделало его к пятидесяти годам богатым человеком. Помимо эстансий, он имел отличный дом в Концепсионе, где большую часть года проживала его семья.

Несмотря на громадную разницу в имущественном положении, к нам он относился как к равным, охотно бывал в колонии на всех праздниках, часто приглашал нас и к себе, принимая с редким радушием. Помню, как-то я встретился с ним в Концепсионе, он обрадовался мне прямо как родному сыну. Узнав, что я приехал по делам, он попросил подождать его в отеле, явился туда через четверть часа на своем автомобиле и, несмотря на все мои протесты, целый день возил, куда было нужно, хотя все эти места было сосредоточены на пяточке. Потом прокатил меня по окрестностям, привез к себе домой, познакомил с семьей и отпустил только после великолепного ужина.

Как-то раз, когда он приезжал в колонию, я ему сказал, что хочу купить для жены спокойную верховую лошадь.

— Завтра один из моих людей пригонит с десятка подходящих, — ответил Бонси. — Ту, которую выберете, оставьте у себя на месяц для пробы. Если она вашей супруге понравится, ее и купите, а нет, найдем другую. Но так или иначе, потом приезжайте ко мне на Эстансию и я покажу вам весь свой табун.

Из присланных лошадей одна кобыла нам с женой очень приглянулась, она прекрасно шла под седлом и мы сразу решили остановить свой выбор на ней. Но все же, как было условлено, по прошествии месяца отправились на эстансию. С нами поехали Керманов и Флейшер с невестой.

Пересекши Красную Кампу и миновав ворота поместья, мы километра три проехали по тенистой аллее, справа и слева от которой расстилались необозри-

мые пастбища, и наконец очутились на широком как площадь дворе, где, вопреки ожиданиям, увидели не парагвайское бунгало, а великолепную барскую усадьбу, которая не посрамила бы и богатого европейского имени. Возле ворот, в тени большого дерева, несколько гаучо сосали терере. При нашем появлении один из них сейчас же отправился известить хозяина, который минуту спустя был уже подле нас, и радушно приветствуя, помогал дамам спуститься с седел.

Большой и комфортабельный дом, крытый черепицей, с трех сторон был окружен тенистым садом. Мы вошли на огромный балкон с паркетным полом, более похожий на празднично убранный зал. Тут было прохладно, солнечные лучи не проникали сквозь густую зелень цветущих растений, со всех сторон оплетавших террасу; они всюду стояли в кадках, гирляндами струились и сверху, из подвешенных к потолку корзин и вазонов. Посредине стоял резной обеденный стол и такие же стулья, несколько удобных кресел дополняли убранство.

Усадив всех на балконе, хозяин приказал своим людям расседлать и выпустить на пастбище наших коней, а затем, извинившись, оставил нас на короткое время одних. Оглядываясь по сторонам, я мысленно отмечал то одну, то другую деталь обстановки. Она наглядно показывала, что при наличии некоторых средств и деловых способностей, и здесь можно было устроиться уютно и удобно. Скотоводство открывало к этому прямой и торный путь, который мы сами себе по недомыслию закрыли, избрав иной, тяжелый и бесперспективный...

Из этих нерадостных размышлений меня вывело появление хозяев. Жена Бонси, еще довольно молодая и интересная дама, была мила и приветлива. Около нее вертелся хорошенький трехлетний мальчуган, глядя на его белокурые волосы и голубые глаза нетрудно было догадаться, что это любимец и гордость родителей.

— Какой прелестный малыш! — воскликнул Керманов, желая им польстить. — А как его зовут?

— Пабло, — ответил Бонси. — Впрочем нет, кажется Артур...

— Рауль, — с легким упреком в голосе поправила хозяйка.

— Ах, да, конечно, Рауль, — обрадовался отец. — Трудно, знаете, всех запомнить. Я ведь женат второй раз и у меня их восемнадцать, не считая умерших. Двое старших уже на войне. А этого мы дома всегда называем Тото, вот я и забыл его настоящее имя.

Тем временем прислуга накрыла стол, и был подан обильный завтрак, а после него кофе с ликером. Основательно закусив, мы, по предложению хозяина, отправились осматривать усадьбу.

Все тут было сделано основательно, продуманно и рационально. Во дворе находился широкий колодец, из которого вода, при помощи ветровой тяги, накачивалась в огромный бак, стоявший на деревянной башне, а оттуда по трубам шла в жилые помещения. Птичий двор, в котором помещались сотни породистых кур, был сделан на бетонной основе, а с боков и сверху защищен прочной металлической сеткой, ни одно хищное животное крупнее мыши не могло бы туда проникнуть. По другую сторону двора тянулись постройки и навесы служебного характера, а поодаль виднелась целая система обширных загонов для скота, с очень высокими бревенчатыми стенами, что живо напоминало старинные деревянные крепости.

Подозвав своего капатаса¹, Бонси распорядился пригнать с кампы лошадей. Несколько гаучо сейчас же вскочили на стоявших у коновязи оседланных коней и галопом скрылись за воротами. Еще двоим хозяин вполголоса отдал какие-то особые приказания. Выслушав их, они взяли топоры, пилы и веревку, после чего пешком отправились к лесу, тянувшемуся по берегу Ипанэ, в полутора километрах от усадьбы. Часа через два они возвратились, неся на плечах кусок довольно толстого древесного ствола. В его дупле был улей диких пчел, которых Бонси велел разыскать и принести, чтобы после обеда угостить нас соевым медом.

Вскоре мы заметили на кампе приближающийся конный табун, голов полтора, и по указанию хозя-

¹ Капатас — надзиратель, старший над рабочими.

ина заняли места на стене одного из загонов. Через несколько минут в его открытые ворота хлынула лавина разномастных лошадей, среди которых не было только вороных — их я вообще в Парагвае не видел.

Коневодством Бонси не занимался, он разводил только мясной рогатый скот, а лошадей держал главным образом для обслуживания своих стад, и потому среди них не было особенно выдающихся по качествам. Ловко действуя бичами, гаучо прогоняли их мимо нас небольшими группами и поодиночке, что дало возможность хорошо осмотреть всех. В результате я решил оставить себе кобылу, выбранную раньше и, поблагодарив хозяина, мы спустились со стены.

После превосходного обеда и традиционной сиесты, нам подали оседланных коней и мы, в сопровождении хозяина и хозяйки и целой свиты из гаучо, отправились в объезд эстансии.

В продолжении нескольких часов мы ехали по бесконечным пастбищам, которые перемежались небольшими рощами, живописными лагунами и рассыпанными по кампе пальмами. В зеленом море травы пелицикады, поодаль стадами и в одиночку бродили разноцветные коровы, а между ними степенно вышагивали южно-американские страусы — "ньянду". Нигде не было видно ни людей, ни чего-либо созданного их руками, и дремотную тишину лишь изредка нарушали пронзительные крики птицы терутера¹. Все это создавало впечатление какого-то особого, прекрасного в своей изоляции и щедрого мира, так не похожего на нашу мертворожденную и сутолочную "Надежду".

Уже на закате солнца мы доехали до изолятора — это был особый загон и отгороженное пастбище для больных коров, — и отсюда, отдохнув немного, повернули обратно. Над нами пылало медно-багровое небо, опушка леса, недалеко от которой мы теперь ехали, постепенно наливалась темной синевой; отдаленно стоявшие пальмы, теряя свои свежие краски, обращались в грациозные силуэты и совсем близко над землей, как бы метя ее своими фа-

¹ Терутера — очень крикливая птица, похожая на европейского чибиса

заными хвостами, тянули к лесу громадные, пунцовые с голубым, попугаи ара.

— Сколько же у вас тут земли? — спросил я ехавшего рядом Бонси.

— Двенадцать квадратных легв¹, — скромно ответил он. — Но это чужая эстансия, а моя собственная находится на пятьдесят километров дальше. Она невелика, всего 18 000 гектаров, и я там держу только небольшую часть своего скота. А все, что вы сегодня видели, я арендую. Здесь гораздо удобней: ближе к городу есть река, большой дом и вполне благоустроенная усадьба. Кроме того, помимо пастбищ, тут в моем распоряжении около десяти тысяч гектаров хорошего леса, который я, по арендному договору, могу вырубать и эксплуатировать в свою пользу без всякой дополнительной платы, это отчасти окупает аренду.

— И сколько же вы платите за всю эту благодать?

— Тридцать тысяч пезо в год. Конечно, это дорого, особенно теперь, когда часть моего скота реквизируют для нужд фронта. Но что поделаешь, жизнь сейчас всюду дорожает.

Признаюсь, что дальнейшие объяснения нашего хозяина я слушал не очень внимательно, мысленно углубившись в вычисления.

Тридцать тысяч пезо, это приблизительно полторы тысячи франков. Иными словами, 125 франков в месяц за великолепную усадьбу, 20 000 десятин превосходного пастбища и 10 000 десятин нетронутого топором леса с правом вырубать и продавать его в свою пользу... И это называется тут дороговато!

Вероятно Бонси не поверил бы мне, если бы я отважился ему сказать, что за свою единственную комнату-мансарду в Брюсселе, не меблированную и с окном, похожим на пароходный иллюминатор, я платил в месяц на пятнадцать франков дороже, чем он за все это княжество.

¹ Двенадцать кв. легв — это 300 кв. километров или 30 000 гектаров.

МИХЕЙ

Этим новым персонажем наша колония пополнилась еще в агрономической школе, куда его однажды утром привел на веревочке мальчишка-парагваец. Это был маленький коати (южно-американский енот) — пушистый рыжевато-серый зверек, с поперечными черными полосами и с длинным, мохнатым хвостом.

Если бы не вытянутый вперед, острый и, как позже выяснилось, чрезвычайно любознательный нос, морда у него была бы совсем медвежья: такой же формы уши, такие же маленькие и умные глаза, и что-то располагающе-добродушное во всем облике. Близкое родство с медведями выдавали и некоторые его ухватки, косолапая поступь, а главное передние лапы, которыми он, впрочем, умел пользоваться несравненно лучше, чем его более крупные медвежьи сородичи.

Ему было не больше двух месяцев от роду и величиной он еще не превышал хорька. Зверек был забавен, хлопотливо-деловит и держался с таким неподражаемым достоинством, что в два счета покори́л все дамские и детские сердца. Да и мое, признаться, растаяло.

— Продаешь? — спросил я мальчишку. Вопрос, собственно, был излишним: в Парагвае тогда продавалось все, на что находился покупатель. После недолгого торга сделка состоялась и Михей перешел в мою полную собственность. Правда, крещение он получил дня через три: кто-то обозвал его Михеем и кличка сразу прилипла. Не берусь объяснить почему, но она к нему очень подходила.

Для начала знакомства я предложил ему банан. Проворно выхватив его из моих рук, Михей отбежал в сторону, сел на задние лапы, передними очистил плод по всем правилам хорошего тона и съел его, а затем, подумав немного, съел и кожуру. Такое невежество он позволил себе единственный раз в жизни, только потому, что был еще ребенком, страшно изголодался и очевидно думал, что моя щедрость этим бананом ограничится. Но он ошибся: ему дали хлеба, мяса, фруктов, словом всего, чем сами были богаты. Михей ни от чего не отказывался и ел до тех пор, пока живот у него не

раздулся, как футбольный мяч. Первый раз в жизни он был совершенно сыт и это ощущение привело его в состояние полнейшего блаженства. Я решил сделать опыт и спустил его с привязи.

Поняв, что он свободен, Михей прежде всего направился к колодцу и напился из стоявшего возле него ведра. Заметив тут же кусок мыла, он важно уселся, взял его в передние лапы и, поставив трубой свой пышный хвост, тщательно его намылил. Эту операцию он неизменно повторял и в будущем, всякий раз, когда ему в лапы попадало мыло. Тут кроется какая-то еще не разгаданная человеком тайна природы: все коти, добравшись до куска мыла, немедленно намыливают себе хвосты, с таким уверенным видом, словно им доподлинно известно, что мыло создано специально для этого.

Покончив с обработкой хвоста, Михей минут пять слонялся по двору, а потом не торопясь двинулся к опушке леса. Полагая, что он хочет удрать, я и еще двое присутствовавших кинулись за ним. Меньше всего помышлявший о бегстве, но испуганный внезапной погоней, Михей с ловкостью белки взлетел на первое попавшееся деревцо. При наших попытках снять его оттуда, он, пользуясь природными ресурсами, необычайно метко отстреливался. Обтирая пострадавшие головы, мы благоразумно отступили и выждав когда Михей израсходует все патроны, с дерева его все-таки сняли.

После этого он снова был посажен на веревку, конец которой прикрепили к ножке стола, под жилым навесом. Однако зверь оказался настолько предприимчивым, что к вечеру вся группа возопила: каждого проходящего мимо, он, играя, хватал за ноги, кроме того, поминутно взбирался на стол, подвергая строжайшему исследованию и беспощадной порче все, до чего мог добраться. Пришлось перевести его под ближайшее дерево, в будку, сделанную из ящика. Немедленно забравшись туда, Михей свернулся калачиком и заснул. В жаркие часы он предпочитал спать на крыше своей хаты.

Вскоре Михей совершенно обрусел и даже сделался шовинистом: инородного духа он не выносил и пара-

гвайцам приближаться к нему было опасно. Впрочем и русских он не всех жаловал и великолепно запомнив, кто его в детстве дразнил, впоследствии не упускал случая свести старые счеты. Он обладал совершенно исключительной храбростью и даже, будучи еще маленьким, смело насккивал на любое приблизившееся к нему животное. При этом он громко свистел (боевой клич его племени), шерсть на нем становилась дыбом, хвост раздувался щеткой, а глаза сверкали как раскаленные угли. И как это ни странно, его боялись и уважали все наши собаки, лошади, свиньи и прочая живность, за исключением цесарок, очевидно полагававшихся на свою численность. Когда они, нагнув головы, начинали сомкнутым строем наступать, Михей сначала грозно пыжился и свистел, потом храбрость его покидала и он стремглав вскакивал на дерево, откуда уже принимался ругать странных птиц последними словами. Впрочем, когда он вырос, ему не то что цесарки, а сам черт сделался не брат.

Спокойная жизнь и обильные харчи к концу года превратили Михея в крупного зверя. Самые рослые экземпляры коати, которых я видел в зоологических садах, казались по сравнению с ним жалкими дегенератами. Когтями и зубами его Бог не обидел и своими острыми, почти волчьими клыками он владел превосходно. Из русских он никого и никогда не трогал, если его не трогали, но и обиды не спускал никому. Исключениями были только я, моя семья и двое-трое избранных, к которым он благоволил. За некоторые его похождения мне иной раз приходилось ударить его раз-другой по морде, причем он не думал огрызаться, тогда как всякий другой дорого заплатил бы за каждую оплеуху.

Как я уже говорил, он не выносил парагвайцев и однажды так укусил соседку, рискнувшую на его глазах войти под один из наших навесов, что ей пришлось несколько дней пролежать в постели. Вообще сторож он был идеальный и привязав его возле жилья, можно было не сомневаться, что никто посторонний туда допущен не будет.

Беда была в том, что Михей хорошо научился стаскивать через голову ошейник и таким образом мог ос-

вободиться от привязи когда ему вздумается. Он этим не злоупотреблял, а о бегстве из колонии и не думал, так как жилось ему в ней вольготно.

Помимо привязанности к хозяевам, в жизни им руководили два одинаково сильных чувства: любопытство и чревоугодие. Если, освободившись от ошейника, Михей решал отдать предпочтение второй страстишке, то прекрасно зная в каких углах сидят на яйцах куры, он прямоком отправлялся к одному из гнезд, вышибал из него наседку и с изумительным проворством начинал выпивать яйца. Излишне, конечно, говорить, что за это я его по головке не гладил. Если же Михей бывал сыт, то забравшись под чей-нибудь навес, он принимался шарить по всем закоулкам и открывать попавшиеся ему коробки, баночки и пакеты. На особом подозрении он почему-то держал семью нашего завхоза Раппа и при всяком удобном случае норовил нагрянуть к нему с обыском. Особенно не любил его жену, которая всячески старалась снискать его симпатию, но тщетно: при ее приближении Михей всегда начинал волноваться и предостерегающе посвистывать.

Побаивались Михея и некоторые другие члены колонии, у которых по отношению к нему совесть была не совсем чиста, не говоря уж о том, что всюду есть ущербные люди, не упускающие случая сделать зло и человеку, и животному. Против Михея они повели агитацию, нашептывая начальству, что он опасен, никому не дает проходу, может загрызть кого-нибудь из детей и т. п. Последнее было особенно злостной напраслиной: детвору Михей очень любил, охотно играл с нею и никогда не обижал.

Керманов к Михею в общем благоволил, но все же в конце концов поддался этим наговорам и поставил мне условие: или убрать зверя из колонии, или привязать его так, чтобы он не мог освободиться. Последнее оказалось невозможным. Через неделю после этого разговора Михей, которому показалось, что жена завхоза его дразнит, стащил с себя ошейник и жестоко ее искусал. Последовало новое вмешательство Керманова и ультиматум: немедленно спровадить преступника куда угодно, или он будет застрелен.

Делать было нечего. Посадив Михея в ящик, чтобы он не видел дороги, я оседлал коня и отвез его верст на пять, в самый дремучий лес, отнес еще шагов на двести от просеки и открыл крышку.

— Ну, Михейка, — сказал я, — возвращайся, брат, в первобытное состояние!

Но Михей не желал вылезать из ящика. Когда я вытащил его оттуда насильно, он сел у моих ног и тихонько повизгивая не двинулся с места. Я попробовал уйти, но он сейчас же побежал за мною. Мне стыдно было смотреть ему в глаза. Вынув револьвер, я дал несколько выстрелов в воздух. Михей испуганно свистнул и мигом взметнулся на ближайшее дерево. Не обращиваясь и чувствуя себя подлецом, я выбежал на дорожку, вскочил на коня и кружным путем возвратился домой.

На Михея мы не смотрели как на домашнее животное: это был член семьи, верный и преданный друг, он был сердцем чище и честнее всех окружающих. Поэтому вернулся я в крайне подавленном настроении, презирая себя за то, что уступил Керманову, хотя и понимал, что он тоже по-своему прав.

— Вот увидишь, он возвратится, — утешала меня жена. Я и сам на это в душе надеялся, но уже наступила ночь, а Михея не было.

Наконец с верхней нашей чакры, часов в десять, прибежал запыхавшийся Флейшер.

— Пришел Михей, — сообщил он. — Голодный как волк, сразу же схватился за чью-то тарелку с едой, а когда попробовали отнимать, оскалился и зарычал. Чистяков, который его особенно ненавидит, снял было с гвоздя ружье, но Михей, не будь дурак, мигом дал тягу! Идем скорее искать его, а то какой-нибудь гад и в самом деле пристрелить может.

На средней чакре мы застали всех на ногах, Михей, оказывается, только что побывал и тут. Проворно разогнав собак, которым за минуту до этого дали миску объедков, он наскоро поел и убежал.

Едва я сделал несколько шагов в указанном мне направлении, как выскочивший из кустов Михей был уже у меня на плече. Он буквально обезумел от радости. Обхватив мою шею лапами, он весь трясся, лизал

мне лицо и голову, что-то посвистывал в ухо... Я принес его к будке и посадил на цепь, но едва лишь пробовал отойти, он устраивал форменную истерику. До двух часов ночи я просидел с ним у будки, прежде чем он успокоился и отпустил меня спать.

Утром я категорически заявил Керманову, что с Михеем не расстанусь и лучше сам уйду из колонии. Но до этого не дошло: диктатор был растроган преданностью животного и сменил гнев на милость. Не настаивала на его изгнании и мадам Рапп, так что для Михея все окончилось благополучно. Но урок пошел ему на пользу: казалось, он понял в чем дело и больше никого не кусал.

Позже, когда настал день моего отъезда из колонии, нам пришлось расстаться. Невозможно было везти с собой зверя в Асунсион, а потом за границу, и я отдал его семье Приваловых, принадлежавших к числу и моих, и его друзей. Вскоре Михей вместе с ними переселился в село Велен, где прожил около года.

Погубило его умение снимать ошейник: во время одной из таких прогулок, какой-то парагваец принял его за дикого и застрелил.

ЖИВОТНЫЙ МИР И ОХОТА

Авторы посвященной Парагваю брошюры Колониационного Центра утверждали, что здешние леса кишат всевозможной четвероногой и пернатой дичью и что для любителей охоты тут подлинный рай. На деле все это оказалось очень далеким от истины.

Разнообразие здешней фауны, если не считать самых мелких ее представителей, значительно уступает и африканскому, и азиатскому, и даже европейскому. Особого изобилия зверей тоже незаметно, к тому же, их чрезвычайно трудно увидеть. Таким образом, если основываться не на отдельных, редких случаях, а на среднем положении, надо признать, что охота в Парагвае гораздо хуже, чем у нас в России, даже в тех ее областях, которые считались в этом отношении посредственными. Там, правда, нет ягуаров и тапиров (как в Парагвае нет волков и медведей), но, затратив на охо-

ту одинаковое время, русский охотник будет иметь больше трофеев, чем парагвайский.

Всех здешних диких животных, заслуживающих упоминания, перечислить нетрудно. Это ягуар, пума, два вида диких кошек, лиса, тапир, олень, дикая свинья-пекари, водосвинка (карпинчо), два вида муравьедов, два вида енотов, болотный бобр (нутрия), воючка, опоссум (комадреха), три вида броненосцев и много сравнительно мелких грызунов, из них два-три похожи на зайца, остальное мелочь, из которой особенно распространена черная морская свинка. К этому надо добавить несколько пород обезьян, а из пресмыкающихся — крокодила (жакаре) и ящерицу-игуану (лагарта), достигающую в длину более метра.

О большинстве этих животных я уже кое-что писал, однако в этой, посвященной им, главе стоит сделать некоторые добавления.

Ягуары по окраске не все одинаковы. В большинстве случаев у них черные пятна рассыпаны по светло-рыжему фону, но часто этот фон бывает темнее "стандартного", достигая бурого и даже почти черного цвета, так что пятна на нем не выделяются и зверь кажется одноцветным. Конечно, такой ягуар большая редкость и прежде считали, что это совершенно особый зоологический вид, который носил название черного бразильского тигра.

В нашем районе ягуаров было немного. Местные охотники, не имевшие более подходящего оружия, били их картечью из дробового ружья, часто даже одноствольного. Чтобы убить таким зарядом крупного зверя, надо стрелять в него на самом близком расстоянии и охотник, выследив предварительно ягуара, обычно располагается на нижних ветвях дерева, над его тропинкой и ждет долгими часами. Главное условие успеха — соблюдение полной тишины и неподвижности, а в тропическом лесу это мудрено, во всяком случае для европейца. Я не раз пробовал такой способ охоты и выдержать не мог: так одолеют комары и другие насекомые, что сидеть невыносимо и зверь на меня никогда не выходил.

Однажды пришел ко мне какой-то незнакомый парагваец и предложил купить у него шкуру ягуара, за-

просив за нее 700 пезо. Это было дороже нормальной цены и прежде чем изъявить согласие, я попросил показать мне шкуру. Оказалось, что она еще на ягуаре, охотник выследил его, но прежде, чем убить, решил обеспечить себя сбытом на трофеи. Я страшно обрадовался и заявил, что даю назначенную им цену, при условии что мы пойдем вместе и я сам застрелю зверя. Парагваец без возражений согласился и вечером обещал за мной зайти, но больше я его никогда не видел. Очевидно подобное бескорыстие с моей стороны показалось ему подозрительным и он решил, что если я сам убью ягуара, то денег ему не заплачу или дам меньше.

В отличие от ягуаров, пумы предпочитают кампу, хотя нередко заходят и в лес, но недалеко от опушки. Поблизости от колонии их было довольно много и местные жители сразу же нас посвятили во все тонкости отношений с этим животным. По их словам, пума совершенно не опасна для человека, если последний знает как себя вести в ее обществе. Встретившись с нею и будучи безоружным, ни в коем случае нельзя от нее бежать. Если вы это сделаете, она может погнаться за вами и напасть сзади, а тогда уже шутки плохи. Надо остановиться и стоять спокойно, без движения. Она будет вас рассматривать, иной раз даже подойдет совсем близко, но никакого вреда не причинит и утолив свое любопытство уйдет. Эти советы соседей-парагвайцев одному из нас вскоре довелось с успехом применить на практике, о чем речь будет дальше.

В Парагвае и в Аргентине о пуме и ее повадках циркулирует множество рассказов, надо думать в значительной мере фантастических. Во всяком случае я не раз слышал, что она подходила к спящим возле костра людям, обнюхивала их, но никогда не трогала, за подобное человеколюбие ее тут даже прозвали в шутку "другом христиан". Но интересно то, что пума, также как и ягуар, в отличие от большинства других хищников, по-видимому, не боится огня.

Из двух водящихся здесь диких кошек, одна называется леопардовой, другая — лесной. мех первой очень ценен и потому она стала редкостью, вторая имеет серо-бурую окраску и встречается часто, я ее ви-

дел неоднократно. Обе они по размерам раза в полтора больше домашней кошки.

Парагвайский олень гораздо меньше обыкновенного, и ростом, и рогами он больше похож на нашу дикую козу — косулю. Здешняя лиса тоже заметно отличается от европейской: у нее темнее спина, а брюхо грязно-желтое, короче шерсть, не такой пушистый хвост и более высокие ноги, видом она напоминает шакала.

Из грызунов заячьего типа один называется пака и живет в лесу. Говорят, встречается тут и так называемый золотой заяц или агути, но я его не видел. На открытых местах изобилует особая порода зайца, более темного цвета и с короткими ушами. Эти животные, также, как и броненосцы, местами так изрывают кампу своими норами, что ездить верхом приходится очень осторожно.

Семейство енотов, кроме раньше описанного коати¹, имеет тут и другого представителя — агуара или полоскун, у него короче хвост и более тупая морда. Он отличается тем, что если поблизости есть вода, непременно очень тщательно прополоскает в ней любую пищу, прежде чем ее съесть.

Опоссум, кажется, единственное сумчатое животное, которое водится вне Австралии. Он величиною с кошку, но формой похож на крысу, у него густая и довольно длинная шерсть, а хвост голый. Бегает медленно и неуклюже, но великолепно лазит по деревьям. Это гроза южноамериканских курятников.

Вонючка (сорильо) — очень красивый пушистый зверек, черный, с двумя широкими белыми полосами вдоль спины, но встречаются и совершенно черные. По названию и свойствам она, конечно, известна каждому, но лишь тот, кому случалось обонять ее запах, может судить, насколько это название ею заслужено. Там где она брызнула своими "духами", в лесу или на кампе, больше недели стоит густая, отвратительная вонь, слышная за несколько сот метров. Если хоть капля попадет на человека, костюм надо выбрасывать, ибо никакие стирки и чистки не спасут его от пожизненной

¹ Коати по-русски называется носухой.

вони, да и сам пострадавший много дней будет так благоухать, что в обществе ему появляться не рекомендуется.

Я видел однажды, как за вонючкой погналась неопытная собака и получила в морду целый заряд — то что с нею делалось не поддается описанию. Она прыгала и металась как сумашедшая, выла, скребла морду лапами, закапывала ее в землю, и в результате навсегда потеряла чутье. Но надо сказать, что вонючка своим страшным оружием не злоупотребляет и пользуется им лишь в случае неминуемой опасности, причем сначала только пугает: поворачивается к противнику задом, поднимает хвост и начинает им потряхивать. Обычно этого предупреждения бывает достаточно, чтобы ее оставили в покое.

Из обезьян самые крупные ревуны. Очень много небольших, рыжевато-бурых, это местная порода мартышек; раза два видел я и совсем крохотных уистити. Кроме этих, есть еще два вида, но они более редки.

Один раз, заметив на дереве стаю мартышек, я из глупого озорства, которого до сих пор не могу себе простить, подстрелил одну. Бедняга начала падать, но по пути зацепилась хвостом за тонкую ветку и повисла вниз головой. Ни одна из остальных не подумала о бегстве, все с гневными криками бросились на помощь к пострадавшей.

Парагвайцы, между прочим, едят многих зверей, которые с европейской точки зрения несъедобны, например ягуара, пуму, крокодила, обезьян, броненосцев, игуану. Двух последних и мне случалось есть, мясо их довольно вкусно. То же самое говорят европейцы, пробовавшие ягуара. Едят и тапиров, но на них охотятся главным образом ради кожи, которая отличается очень высокими качествами и идет на дорогие сорта кожаных изделий. Ценится и шкура игуан, она очень красива и из нее шьют пояса, бумажники, дамские туфли и т. п. Панцири броненосцев тоже находят широкое применение, из них делают всевозможные коробочки, корзиночки, настольные лампы и прочие сувениры.

Стоит упомянуть еще очень крупную летучую мышь — вампира. Эта тварь вполне заслуживает

свое название, так как действительно сосет кровь животных, а при случаи и человека, но прокусывает у него не горло, как подобало бы настоящему вампиру, а обычно большой палец ноги, во время сна. Слюна его, видимо, обладает анестезирующими свойствами и укушенный никакой боли не чувствует. Крови такой вампир выпивает, конечно, не столько много, чтобы это могло ощутимо отразиться на здоровье. Этой гадости особенно много в Чако.

Пернатый мир Парагвая гораздо более разнообразен, и самым крупным его представителем является страус нанду. Между ним и его африканским сородичем сходства мало, он меньше ростом и имеет серое оперение. Хвостовые перья его тоже далеко не так пышны и никакой ценности не представляют, из них тут выделываются метелки для обметания комнатной пыли.

Ходят нанду обычно небольшими стадами и на эстансиях очень любят пастись вместе с коровами. В этом случае они не пугливы и к ним без труда можно подойти совсем близко, тогда как страусы, гуляющие самостоятельно, чрезвычайно осторожны и завидев издали человека сразу пускаются наутек. Самка делает гнездо где-нибудь в траве, на кампе, и откладывает до тридцати яиц, которые предоставляет высиживать своему супругу. Каждое яйцо по объему равно примерно дюжине куриных, они очень вкусны и в мое время их можно было купить на любом парагвайском базаре.

Характерен для Парагвая и тукан. Это черная птица величиною немного больше вороны, но с громадным и толстым оранжево-красным клювом. Когда тукан сидит на дереве, этот клюв видно за полкилометра и думаю, что такая пышная вывеска ему никакой пользы не приносит и даже наоборот, ибо он любит пожирать в чужих гнездах птенцов, а пернатые мамыши, издали завидев его нос, приходят в страшное возбуждение и поднимают неистовый крик. Туканов здесь приручают и их можно видеть во многих домах, пользующихся относительной свободой.

Из парагвайских попугаев самый крупный и красивый — ара, он красного цвета с синими подпинами и толстым белым клювом. Изредка встречаются и другие большие попугаи, из таких я видел синего с желтым и зеленого с желтым, но особенно многочисленны черные, размером и формой похожие на сороку, и зеленые двух видов — один величиной с дрозда, другой покрупнее. Эти последние очень вкусны и мы их часто стреляли. Они крайне осторожны, но если охотнику удалось приблизиться к дереву, на котором они сидят, и застрелить одного, после этого без труда можно перебить всю стаю: остальные не улетают, а с криком кружатся около того же дерева и поминутно на него садятся.

На спинах у пасущегося на кампе скота тут постоянно можно видеть небольших желто-серых птичек, выклеывающих из кожи животных всевозможных паразитов. Это подлинныe благодетели местных лошадей и коров, которые со своей стороны всячески стараются не затруднять им работу.

Есть в Парагвае и еще одна очень полезная птица, которую убивать запрещено законом: это крупные коршуны, большими стаями летающие на кампах, особенно вблизи эстансий. Много их и в городах, они знают о своей неприкосновенности и людей совершенно не боятся, спокойно сидят на крышах и на заборах. Такой привелегией они пользуются за свою санитарную службу, пожирая на кампах и на эстансиях падаль, а в городах всякие отбросы.

Из съедобной пернатой дичи тут есть дикие индюшки, гуси, утки, что-то похожее на цесарок, куропатки, перепелки, голуби, лесные курочки и кулики. На этих птиц, за исключением самых крупных, в наших местах никто не охотился, так как выстрел обходился гораздо дороже добычи.

Из остальных парагвайских птиц стоит упомянуть фламинго (но в таких сухих местах, как выше, их не было) и по несколько видов орлов, цапель, сов, кардиналов, дятлов и очень красивых колибри. Было и много других, совершенно мне незнакомых.

ПИКНИК НА РЕКЕ

Вопреки всем бодрящим прогнозам колонизаторов, март оказался таким же знойным, как и предыдущие месяцы, но в начале апреля жара заметно уменьшилась и вскоре настала ровная и приятная солнечная погода. Ночами температура падала до 4 — 5°C и мы, за полгода совершенно отвыкнув от таких холодов, наваливали на себя все, что могло быть использовано для укрывания. Однако, через час после восхода солнца уже можно было ходить в одних трусиках и чувствовать себя, как летом в Европе. В мае исчезли и последние комары, не выдержав очевидно, холодных, ночей.

Такая благодать, изредка нарушаемая сильнейшими, но непродолжительными дождями, держалась почти четыре месяца — это парагвайская осень, самое лучшее время года. Зима же от нее отличается только частыми и резкими колебаниями температуры. В течение одного дня она иногда меняется несколько раз, в пределах от десяти до тридцати пяти градусов, а ночью часто падает до нуля.

В связи с такой счастливой переменой, у всех проснулся интерес к окружающему и мы, в меру возможностей, старались приятно использовать передышку, предоставленную нам тропическим климатом. Участились верховые поездки, прогулки и охоты. Кто-то отыскал более короткий и удобный путь на Ипанэ и проведя ночь у реки, возвратился, полный восторженных впечатлений, никакими насекомыми не искушенный и даже с хорошим уловом рыбы. Как следствие этого, в одну из ближайших суббот туда была организована целая экспедиция, в состав которой вошло человек десять мужчин и несколько дам. В понедельник был праздник, что давало возможность провести на берегу почти три дня.

Все, у кого не было собственных лошадей, заблаговременно раздобыли их у соседей. Нужно сказать, что это было несравненно легче, чем выпросить колхозных коней у Керманова, хотя бы они и стояли в это время без дела. Разговор в таких случаях бывал короткий и однотипный:

— С какой это стати лошадь возьмете вы, а не кто-нибудь другой?

— Да ведь другим она сейчас не нужна и ее никто не просит.

— Ну, вот и вы не просите. Надо равняться по большинству.

Дамы спешно стряпали на кухне пирожки, котлеты и прочие походные яства. Мужчины деловито запасались питиями, с таким, конечно, расчетом, что "пусть лучше останется, чем не хватит".

— Безумцы! Как будто в подобных случаях когда-нибудь что-то оставалось! — ворчал Полякевич, красноречиво настаивая на необходимости прихватить "еще пару бутылок".

Наконец, все было готово и упаковано, кони оседланы, вьюки и скатки приторочены к седлам, и вся компания, напутствуемая остающимися, выехала за ворота.

День уже заметно клонился к вечеру. Наша кавалькада, вытянувшаяся гуськом по Красной Кампе, являла собой живописное зрелище, то целиком вырисовываясь на фоне уже заалевшего неба, то исчезая в высокой траве, из которой виднелись только разноцветные рубахи, стволы ружей, да соломенные шляпы и береты.

Тут уместно будет отметить, что большинство русских, отправляющихся из Европы в Южную Америку, думают, что здесь всякий живущий на кампе и претендующий на уважение человек должен одеваться по образцам кинематографических ковбоев или африканских плантаторов. Наиболее предусмотрительные привозят с собой широкополые ковбойские шляпы, колониальные пробковые шлемы и т. п. Здесь на таких стилист смотрят с недоумением и, вероятно, думают, что так люди одеваются в Европе. А на шлемы даже обижаются: "Помилуйте, у нас не колония, а свободная страна!".

Сами парагвайцы в своей внешности решительно ничего кинематографического не имеют и самым популярным головным убором тут служит обыкновенная фетровая шляпа, обычно черная. Только в случае исключительной бедности она заменяется соломенной, но

без всяких претензий на ковбойские фасоны. Таким образом, максимум экстравагантности в костюме, которую можно себе позволить, не рискуя показаться смешным, это "рыцарские" шпоры на сапогах, да запорожской ширины шаровары. В холодные дни уместно дополнить этот наряд парагвайским плащом "пончо", красного цвета¹ и вне зависимости от погоды, огнестрельным оружием.

Было уже почти темно, когда приблизившись к опушке прибрежного леса и с трудом отыскав тропинку-туннель, мы погрузились в полнейший мрак зарослей, по которым предстояло ехать еще километра два. Не было видно даже поднесенной к собственному носу руки, лошади спотыкались о корни деревьев, всадников хлестали по лицам невидимые ветви, наконец переднего едва не вырвала из седла висевшая через дорогу лиана. Пришлось спешиться. Взяв коней под узцы и перекликаясь, мы ощупью пробирались сквозь сельву. Через полчаса впереди немного посветлело и один за другим все вышли на поросшую травой и редкими деревьями поляну.

В двадцати шагах от нас виднелась темная поверхность реки, в которой, как в черном зеркале, отражались звезды. Противоположный берег был довольно высок, на нем дыбилась уходящая в небо стена леса, а у подножья, будто взрывами выброшенные из воды, вздымались отдельные, но от того еще более величавые и пышные кусты бамбука. Место было так первобытно красиво, что мы, в соответствии с обстановкой, подикарски выразили свой восторг громкими криками и пальбой в воздух.

Вскоре лагерь был разбит, кони расседланы и стреножены, им тут было вволю травы. В нескольких шагах от реки, под шатром огромного дерева, с которого змеями свешивались лианы, пылал большой костер. Вокруг него, на разостланных одеялах и пополах, расположилась вся наша компания. Некоторые уже успели и выкупаться. Дамы вытаскивали из вьюков свертки с провизией и сервировали "стол". На ветку сосед-

¹ Пончо делают всевозможных цветов, но на кампе самыми шикарными считаются красные.

него дерева бесшумно опустилась довольно крупная сова и уставилась на нас немигающими круглыми глазами.

В груди нарастало чувство какое-то безотчетного удовлетворения, почти счастья. И даже не верилось, что где-то есть большие города, шумные улицы, электрические фонари, стремительно мчащиеся автомобили... Все это — по ту сторону стены, которую цивилизация воздвигла между человеком и природой, а по эту, по нашу сторону — дикий лес, затерянная в дебрях река, тишина, простор и истинная, а не запрограммированная политиками свобода, — не это ли для человека самое нужное и ценное? В такие минуты Парагвай казался мне прекрасным, и сердце отказывалось верить, что я его когда-нибудь по доброй воле покину.

За едой, выпивкой и веселой болтовней время летело незаметно и некоторые уже начали поклевывать носами. В минуту наступившей тишины на противоположном берегу явственно прозвучал треск валежника и шум раздвигаемых зарослей. Мы насторожились. Через некоторое время шум послышался снова. Было очевидно, что какое-то крупное животное ворочается в чаще, возле самой воды, в каких-нибудь ста метрах от нас. Правый берег Ипанз, от которого на десятки верст тянется непроходимая сельва, совершенно необитаем, там не могло быть ни человека, ни коровы.

— Тапир, — шопотом сказал кто-то.

— Может быть и ягуар, — добавил другой.

Взяв заряженный карабин, я взвел курок, подошел к самой кромке берега и приготовился стрелять с колена, как только зашевелиятся кусты, до которых достигал свет нашего костра. Прошла минута напряженной тишины, снова послышался треск, — я прицелился и вдруг прямо против мушки моего карабина вспыхнула спичка! Я едва успел удержать палец, уже давивший на спуск.

— Какой черт там лазит? — заорало сразу несколько голосов.

— Да не черт, а я, — откликнулся с того берега ленивый голос Яцевича.

— Какая нелегкая тебя туда занесла?

— Хотел вам сюрприз устроить, разложить здесь наверху костер, да пока переплывал реку спички подмокли. Еле зажег одну, и та сразу погасла. А ну, плыви сюда кто-нибудь с огнем!

При мысли, что едва не застрелил приятеля, я почувствовал потребность освежиться. Переоблачившись за ближайшими кустами в купальные трусики, взял в зубы коробок со спичками, переплыл реку и присоединился к Яцевичу. Не без труда вскарабкавшись на крутой обрыв, мы сложили здесь огромную кучу валежника и разожгли костер, фантастическим заревом осветивший всю реку. С левого берега нас приветствовали пальбой и восторженными криками.

Утром Флейшер проснулся одним из первых. Он развел дамам костер и пока они кипятили чай, взял двухстволку, положил в карман несколько патронов, заряженных мелкой дробью, и углубился по просеке в лес, рассчитывая настрелять к завтраку попугаев. Отойдя от лагеря с полверсты, он увидел боковую тропинку, повернул на нее и едва не столкнулся с пумой, помаживая хвостом, она стояла в десяти шагах. Ружье было заряжено бекасинником и Флейшеру ничего не оставалось, как воспользоваться советом соседей: он замер неподвижно на месте, но, как признался позже, под пристальным взглядом зверя чувствовал себя очень приятно. Впрочем пума его вынужденным терпением не злоупотребляла, — прошло несколько секунд и она нырнула в чащу. Флейшер примчался в лагерь и рассказал о случившемся. Схватив ружья, мы кинулись к месту встречи, но ничего, кроме свежих следов зверя на песке, ни там, ни поблизости не обнаружили.

Следующие два дня, которые были самыми яркими и приятными во всей моей парагвайской жизни, мы провели на берегу, охотясь, ловя рыбу и купаясь до одури. Во время одного из таких купаний я брел по колено в прозрачной воде и вдруг заметил на дне плоский и очень красивый камень, оливково-черный, с желтыми пятнами. Виднелась только его центральная часть, остальное было занесено песком. Я ступил на него ногой и вдруг камень зашевелился! Он оказался громадным скатом, который стремительно выскочил у

меня из под ног, и только молниеносный прыжок в сторону позволил мне избежать удара его "пилой".

Все участники этой экспедиции остались от нее в таком восторге, что месяц спустя она была повторена.

КОЛХОЗ И ДИКТАТУРА

Работа наша была тяжела, условия жизни до предела примитивны, перспективы достаточно безрадостны. Но со всем этим можно было примириться и даже значительно улучшить свой быт, если бы не наша диктаториально-колхозная организация, которая была хороша в теории, но на практике сразу же приобрела уродливые и губительные для общего дела формы. Она свелась к полному подавлению всякой частной инициативы и психологически превратила нас в батраков, которые, не рассуждая, должны делать то, что велит хозяин, и не имели никакой возможности осуществить что-либо из области своих собственных планов и желаний, казалось бы, вполне естественных и легко исполнимых без всякого ущерба для коллектива.

Керманов не учитывал самого главного фактора, который только и мог удержать на общей орбите и в данной обстановке таких людей как мы, а именно: внутреннего, часто даже подсознательного стремления человека создать что-то свое, пусть ничтожно маленькое, но собственное, над чем он мог бы чувствовать себя неоспоримым хозяином и что в какой-то мере украшало бы его жизнь, или хотя бы примиряло с ней.

Все мы в конечном счете бежали из Европы от своего бесправия и от сознания того, что целиком зависим от множества внешних обстоятельств, каждое из которых в любой момент может обернуться против нас и оставить без куска хлеба. В течение многих лет каждый засыпал с мыслью о том, что завтра может лишиться работы, а затем и квартиры, и деваться будет некуда, ибо ничего своего нет, даже дерева над головой, из-под которого не выгнал бы полицейский. И вот именно это желание обрести что-то свое, избавляющее от чувства постоянной зависимости, привело нас в Парагвай.

А на деле оказалось, что у каждого отдельного лица и тут ничего своего не было. Собственником никто себя чувствовать не мог и всякое стремление к какой-либо собственности встречало открытое противодействие диктатора, если даже дело шло о самых простых и естественных вещах, казалось бы, заслуживающих не только одобрения, но и помощи.

Прежде всего, это касалось жилых помещений. Впустив нас под купленные навесы, Керманов жилищным вопросом больше не интересовался и о постройке обещанного дома думал меньше всего. Но если такое положение было терпимо для холостых, то у семейных дело обстояло иначе: они жили в страшной тесноте, по две-три семьи вместе, не говоря уже о том, что приближалась зима с ее холодными ночами, и родители беспокоились о детях.

Первыми решились построить себе какую-нибудь отдельную хибарку Приваловы, так как в "клетке" на девяти квадратных метрах ютилось пять человек, принадлежавших к трем различным семьям, и для того, чтобы совершенно уподобить их сардинкам, оставалось только полить сверху маслом. При таких обстоятельствах следовало всячески приветствовать идею Привалова и всемерно облегчить ее осуществление, но Керманов сделал как раз обратное и постарался его всеми способами затруднить. Прежде всего, не давал для этой крохотной постройки места: где бы Привалов его не выбрал, у него неизменно находился какой-нибудь предлог для отказа. Один из этих предлогов я запомнил: "Здесь слишком близко от дороги, ваша хата будет пугать лошадей и волов".

Наконец место было дано где-то в зарослях бурьяна, и Привалов получил разрешение строиться, но на таких условиях: работать только в свободное от общественных работ время, не пользоваться никакими принадлежащими колонии материалами, не просить колхозных перевозочных средств или какой либо помощи в работе и дать обязательство снести свое жилище по первому требованию диктатора, если это место ему понадобится для чего-нибудь другого.

При таких предпосылках, Привалов должен был, конечно, ограничиться постройкой самой примитивной

и маленькой хатенки, которая не требовала ни затрат, ни большого труда. Работая по праздникам и в часы сиесты, с полуконтрабандной помощью одного-двух друзей он ее в течение месяца выстроил.

Но когда на таких же условиях и я решил построить для своей семьи отдельный домик, уже более основательный, дело обернулось значительно хуже: Керманов наотрез отказался дать мне место на территории колонии и предложил строиться за ее оградой, на казенной земле.

Видя, что всякие споры бесполезны, я с помощью Флейшера, в свободное время расчистил себе полгектара леса рядом с семейной чакрой, а все необходимые для постройки материалы купил в Велене. Но еще раньше, чем мне их доставили, диктатор отправил меня с каким-то поручением в Концепсион, и едва я уехал, приказал вырубить на моем участке все оставленные мною для тени деревья, мотивируя это распоряжение тем, что колонии нужны дрова, а участок еще не огорожен, значит по закону он "ничей". К счастью поблизости оказался Флейшер, который энергично вмешался в дело и спас деревья. Но это было только начало. Если бы я стал перечислять все придирки, каверзы и помехи, которые мне были сделаны в дальнейшем, чтобы затруднить работу по постройке, пришлось бы писать отдельную главу. Скажу только, что этого дома мне так и не удалось достроить.

Не лучше было и с частными лошадьми. Казалось бы, какой коллективу вред от того, что человек на собственные деньги купил себе коня и ездит на нем в свободное время, а нередко исполняет и общественные поручения? Но, тем не менее, эти несчастные лошади вызывали бесчисленные нарекания и придирки. Было строжайше запрещено кормить их не только колхозной кукурузой или маниокой, но даже никому ненужными листьями этих растений. Более того: когда я попросил продавать мне общественную кукурузу (из которой, между прочим, на пай моей семьи приходилось около полутора тонн), мне в этом было отказано и я покупал ее для своих лошадей у соседей, также как и другие "частники".

Заведет себе какая-нибудь семья несколько собст-

венных кур, и начинается та же история: диктатор ворчит, что эти куры всем мешают, выклевывают общественные плантации, разводят грязь, словом, нападкам на них нет конца. И не дай Бог бросить им горсть общественного зерна! А для чего было так свирепо оберегать это зерно и какую пользу от него получил коллектив, читатель увидит из следующей главы.

Таким образом, именно то, о чем мечтали люди и ради чего сюда ехали, стало служить источником постоянных неприятностей и огорчений. И выходило так, что мы просто переменили хозяина, причем прежний, европейский хозяин-работодатель в нашу частную жизнь не вмешивался, а тут и она попала под контроль. Оставалось только тянуть скучную лямку, выходя на ту работу, которую укажут свыше и не имея ни права, ни возможности внести в нее что-нибудь от своего разума, ибо инициатива могла исходить только от диктатора. Разумеется, при такой постановке дела, от какого-либо энтузиазма или хотя бы усердия в работе вскоре не осталось и следа. Каждый чувствовал себя не хозяином, а батраком и отбывал положенные часы с таким же нудным ожиданием вечернего отбоя, как на любой европейской фабрике.

Но не зависимо от этого рабочих рук в колонии не хватало, так как помимо полевых работ и ухода за плантациями, мы одновременно проводили дороги, заготавливали лесные материалы и строили всевозможные хозяйственные постройки. В связи с этим Керманов сразу же начал хлопоты о предоставлении нам группы военнопленных боливийцев, которых в Парагвае было множество. По этому поводу долго тянулись переговоры с военными властями и все уже думали, что ничего из этого не выйдет. Но однажды мы с Флейшером поехали по делам в Концепсион и тут нам неожиданно сообщили, что шестеро боливийцев находятся в нашем распоряжении и их можно сегодня же забрать, выполнив в комендатуре положенные формальности. Они заключались в том, что комендант предложил мне подписать документ, в котором было сказано, что пленные выдаются на мою полную ответственность: в будущем я отвечаю за все, что они могут натворить, а в случае их побега мое

имущество подлежит конфискации, а сам я предстаю перед военным судом.

Хотя комендант и уверял меня, что ни один боливец не убежит и потому бояться мне нечего, я все же усомнился в их добродетелях и этого документа не подписал.

Позже я узнал, что пленные действительно из Парагвая никогда не бежали, по той простой причине, что здесь им жилось лучше, чем дома. Население Боливии почти на девяносто процентов состоит из индейцев и полуиндейцев, которых правящая белая верхушка держала в то время в нищете и несправедливости, поэтому у них не было особого желания сражаться за нефтяные интересы этой верхушки и они массами сдавались в плен. Парагвайцы к ним относились хорошо, и это привело к историческому курьезу: когда Парагвай выиграл войну по мирному договору Боливия должна была уплатить ему семь миллионов долларов за содержание пленных боливийцев, но предварительно она требовала этих пленных обратно, а большинство из них возвращаться на родину не хотели. С трудом их спровадили чуть ли не силой, пообещав принять потом желающих обратно.

Но в тот день, когда мне предложили взять пленных, я ничего подобного не подозревал и мне казалось вполне закономерным, что они при первой же возможности попытаются сбежать, а это легко можно было сделать и из колонии, и по пути туда. Нам предстояло возвращаться ночью поездом, через сплошной лес: достаточно было выпрыгнуть из вагона и пиши пропало! А парагвайские вагоны... Впрочем, вся наша железная дорога, в целом заслуживает того, чтобы посвятить ей несколько отдельных строк.

Протяжением она была около семидесяти километров и поезда по ней ходили два раза в неделю, по вторникам отправляясь из Концепсиона утром и возвращаясь ночью, а по пятницам наоборот. Путь в каждый конец занимал часов шесть-семь, так как поезд останавливался возле многих чакр, принимая грузы, а нередко по полчаса и больше ожидал где-нибудь в лесу запоздавшего эстансиеро, который заранее сообщил, что в этом месте сядет на поезд. Кроме того, любой

прохожий где угодно мог остановить его простым поднятием руки, машинист тормозил, пассажира подбирали и кондуктор продавал ему билет. Очень часто состав приходилось останавливать, чтобы прогнать улегшихся на пути коров или оттащить в сторону упавшее на рельсы дерево. Если оно было толстым и тяжелым, кондуктор выдавал пассажирам пилу и топоры, и они его раздвигали на куски. Таким образом, все зависело от подобных случайностей и расписание существовало только в теории.

Путешествовать в таком поезде было не весьма приятно и по другим причинам: вагоны были открытого типа, без боковых стенок, а паровозик "кукушка" отапливался дровами, из его трубы каскадами сыпались искры, прожигая пассажирам костюмы, не говоря уж о том, что их густо покрывала кирпично-красная пыль. В силу этого, надо было надевать в дорогу какое-нибудь старье, а с собою везти в чемоданчике приличный костюм, чтобы переодеться в Концепсионе, что обычно делалось прямо на вокзале. Приблизительно так же в те годы обстояло дело и на всех других железнодорожных линиях Парагвая, да и сейчас, кажется, немногим лучше.

Когда, возвратившись в колонию, я рассказал Керманову все что касалось пленных, он долго громил меня за то, что я их не привез, но сам за ними не поехал и на том дело кончилось.

КОНЕЦ ИЛЛЮЗИЯМ

Текло время и по мере того как приближался к концу первый год существования нашей колонии, ее полная нежизнеспособность выявлялась с возрастающей очевидностью.

Больше всего надежд у нас возлагалось на хлопок, который в Парагвае считается самой доходной культурой и к тому же единственной, которую где угодно можно продать на месте. Чтобы читатель яснее себе представил, каких благ мы могли ожидать от своего хлопка, приведу немного цифровых данных.

Отличным урожаем тут считается 1200 кг ваты с гектара. Наши растения были уже стары, надлежащего ухода за ними тоже не было и мы снимали с гектара всего по 700 — 800 кг, таким образом вся наша хлопковая плантация (8 гектаров) дала около 6 000 кг. Вдобавок эта вата была далеко не первосортна, так как ее подпортили дожди и вредители.

Не лучше обстояло дело и с ценами. Колонизаторы нас уверяли, что в Парагвае на хлопок существует твердая, декретированная правительством цена: 28 пезо за килограмм ваты первого качества. На месте мы от соседей узнали, что о такой цене никогда и слышно не было, но она ежегодно меняется и есть надежда, что нынешний урожай можно будет продать хорошо, по 17-18 пезо. Однако эти предположения не оправдались: вскоре была опубликована официальная цена — 12 пезо за килограмм, но и это оказалось лишь теорией, а на практике скупщики платили не больше десяти за самую лучшую вату, за нашу же предложили по четыре. Иными словами, за весь свой урожай мы могли получить 24.000 пезо. При дележе на сорок участников, это давало 600 пезо (менее полутора долларов) на пай.

Отдать хлопок по этой цене Керманов отказался. Его сложили под навес и несколько человек, еще оставшиеся в колонии, дождавшись неурожайного года, продали его впоследствии по восемь пезо.

Предположим теперь, что мы засеяли хлопком, как самой выгодной культурой, всю свою расчищенную территорию, т. е. 30 гектаров. Допустим далее, что судьба бы к нам благоволила и мы, получая максимальный урожай, 1200 кг с гектара, продавали бы его по самой высокой из реально существующих цен, т. е. по 10 пезо за 1 кг. В совокупности этих предельно благоприятных предпосылок вышло бы по 9 000 пезо на пай, т. е. 20 долларов на человека за год каторжного труда. С прохладцей работая в Асунсионе простым рабочим восемь часов в день, можно было заработать втрое или вчетверо больше, живя к тому же в культурных условиях.

Второю по важности культурой была у нас кукуруза, ее мы имели около десяти гектаров. Уродилась она отлично и дала нам примерно 30 тонн зерна. В Кон-

цепсионе цена на нее была установлена 2,5 пезо за килограмм, но когда мы попробовали продать свою, никто не давал больше одного пезо. К тому же надо было самим доставить кукурузу в город, а при наших транспортных средствах и состоянии местных дорог, перевозка 30 т заняла бы около года. Легче было отправить железной дорогой, но для этого надо было ссыпать зерно в мешки. Их стоимость и оплата перевозки полностью поглощали заработок. И в результате кукуруза у нас осталась непроданной. Небольшую часть ее скормили скоту, а остальное помаленьку доедали черви.

Также обстояло дело и с земляными орехами. В Концепсионе давали по 2,5 пезо за килограмм, это было втрое ниже официальной цены, а с доставкой орехов в город возникали те же трудности, что и с кукурузой. Выдавить из них масло было невозможно без дорогостоящего оборудования, о приобретении которого мы не могли и мечтать. Короче говоря, наши орехи тоже пошли на пользу лишь крысам, которые пожирали их с упоением, тогда как нам самим строжайше запрещалось их есть.

Было у нас еще восемь гектаров маниоки. Ее вообще нельзя было продать: поблизости у каждого была своя, а перевозки этот продукт не выдерживает. В земле клубни сохраняются около двух лет, но как только их выкопали, надо немедленно пускать в дело, так как несколько дней спустя в них начинают вырабатываться ядовитые вещества и они портятся.

Однако из этого положения существовал разумный выход: можно было на месте перерабатывать маниоку в крахмал и этим тут занималась почти каждая крестьянская семья, ибо производство крайне несложно и все необходимое оборудование легко сделать самим. А за килограмм крахмала в Концепсионе платили не меньше восьми пезо. Приведу и тут немного цифровых данных: гектар маниоки дает до десяти тонн клубней. Для внутренних потребностей колонии этого было вполне достаточно, а остальные 70 тонн могли дать нам, как минимум — с учетом всяких потерь — 14 тонн чистого крахмала, или 112 000 пезо, т. е. почти впятеро больше, чем нам предлагали за хлопок.

Сделав этот несложный расчет, я настойчиво советовал Керманову заняться крахмалом. Меня поддерживали и многие другие. Диктатор советов не любил, но выгода была настолько очевидна, что он сейчас же приказал сделать в нашей мастерской все нужное оборудование. Оно было сделано, но осталось без применения, его даже не испробовали на практике, так как к тому времени Керманов уже увлекся идеей производства сыра. Таково было свойство его характера, он бросался с одного на другое и ничего до конца не доводил. После сыра, из которого ничего не вышло, он схватился за производство сливочного масла. Немедленно был куплен сепаратор и сделана ручная маслобойка, но оказалось, что масло некому продавать. Затем последовало новое увлечение: производство ароматических эссенций. Был куплен перегонный куб, совершенно для этого не подходящий, его собирались переделать, но диктатор внезапно загорелся идеей приобретения прессы для производства патоки из сахарного тростника, а перегонный куб стали употреблять вместо табуретки. На пресс у нас денег уже не хватало, а то и его бы, вероятно, постигла подобная участь. В окрестностях у одного крестьянина такой пресс был и всем соседям он выдавливал патоку от половины. Выдавил и нам. Ее тоже не продали, а съели сами, когда сахар стал не по карману.

Остается сказать несколько слов о табаке. В Парагвае выращиваются только черные сорта и есть районы, где это дело поставлено хорошо. Но в наших краях его вели совершенно по-варварски: листьям давали вырасти до максимума и когда они достигали полутора метров длиной, их срывали, минуя все промежуточные процессы высушивали на солнце, а затем превращали в самодельные сигары. Продать такой табак нечего было и думать, и сеяли его тут исключительно для собственного потребления. Сигары умеет крутить любая парагвайская крестьянка, одна из соседок накрытила из нашего табака и нам, за труд взявши себе половину. Эти сигары были отвратительны, но когда не стало денег на покупку сигарет, мы их все же выкурили.

Итак, к концу года с трагической очевидностью выяснилось, что из своего урожая мы ничего продать не можем, и труд наш, по существу, оказался напрасным. Однако Керманов еще бодрился. Теперь его осенила новая идея, от которой он ожидал спасения: купить несколько километров проволоки и, загородив тридцать или сорок гектаров Красной Кампы, посеять там хлопок — единственную культуру, которую тут все же можно было продавать, хотя бы по явно заниженной цене. Однако и это было уже неосуществимо, так как на проволоку не осталось денег.

Теперь, отбросив мечты об обещанном колонизаторами благосостоянии, никто не надеялся даже на возможность какого-либо денежного заработка. Вопрос ставился лишь в такой плоскости: можно ли будет как-то просуществовать в колонии, когда ее касса окончательно опустеет?

Большинство считало, что нет. Прокормиться тем, что мы сами производили, было, пожалуй, возможно, хотя такой стол был бы предельно скромн: маниока, кукуруза, изредка яйца и курятина, на десерт земляные орехи и фрукты, кое-что могло вырасти и на огороде. Вместо сахара можно было употреблять патоку, вместо чая можно было заваривать какую-нибудь травку, курить самодельные сигары, освещаться костром, изредка обменять мешок земляных орехов на пару литров постного масла, словом подлинного голода можно было не бояться. Но какие-то деньги все же были необходимы хотя бы на одежду и на обувь, которые в парагвайских условиях изнашивались невероятно быстро. И в этом смысле наша колония находилась в положении неизмеримо худшем, чем самое бедное парагвайское хозяйство. Если крестьянину "единоличнику" понадобилось приобрести штаны, он может отвезти в город сотню яиц, пару кур, мешка два орехов, и продав это на базаре, хотя бы по-дешевке, сделать необходимую покупку. Но когда штаны нужны сорока человекам, таким путем из положения не выйдешь, ибо по существу наша колония была таким же бедным хозяйством, как все соседние, а потребностей у нее было неизмеримо больше.

В будущем мог немного выручить хлопок, но чтобы дожидаться возможности продать его за приемлемую цену, необходимо было сохранить хотя бы маленький резервный капитал, а у нас, в чайньи крупных барышей от продажи первого урожая, деньги тратились легкомысленно, щедро и непроизводительно, примеры чего я уже приводил. Приведу и еще один: имея полную возможность в основном питаться продуктами собственного производства, прикупая лишь самое необходимое — колония только за три первые месяца истратила на свое довольствие 60.000 пезо наличными, т. е. более того что стоили все три купленные нами чакры.

Когда в нашей колхозной кассе уже проглядывало дно и вместе с тем стало очевидным, что надеяться больше не на что, общее собрание постановило на каждого члена колонии сохранить в неприкосновенности сумму, равную стоимости проезда до Асунсиона. Для многих это послужило спасением.

РАЗВАЛ

Едва окончился условленный год существования нашего колхоза и диктатуры Керманова, колония "Надежда" рассыпалась как карточный домик. В ней к этому времени оставалось сорок два человека, так как один по семейным обстоятельствам уехал значительно раньше и один умер.

Семнадцать человек, в достаточной степени наученных горьким опытом минувшего года, ни о каких новых формах земледелия не хотели и слышать. Они почти одновременно покинули колонию и отправились в Асунсион. В их числе находился и я. От каких-либо претензий на причитающуюся нам часть недвижимого имущества, инвентаря и урожая мы отказались, поэтому, сверх обусловленной стоимости проезда, из оставшейся в кассе наличности нам выдали еще какие-то гроши, приходившиеся на долю каждого. Кроме того, остающиеся купили у нас собственных лошадей и седла.

Пять человек переехали в село Велен. У них были кое-какие личные средства, что позволило им приобре-

сти там домик с небольшим участком земли и купить подержанный грузовик, на котором они пытались наладить перевозку пассажиров и грузов между Веленом и Концепсионом. Эта группа при расчете с колонией денег уже не получила, но ей дали из общего имущества лошадь, повозку и некоторые инструменты. Прожив в селе год и прогорев на своем транспортном предприятии, эти пятеро с трудом продали за бесценок автомобиль и тоже перебрались в Асунсион.

Из оставшихся на месте, семейство Раппов и с ними еще три холостяка, заявили о своем выходе из коллектива. При разделе им, помимо кое-какого инвентаря, досталась наша верхняя чакра ("Убийцы"), где они совместно продолжали работать еще года три.

Остальные тринадцать человек решили сохранить колхозную организацию, но Керманову пришлось сойти на роль рядового колониста и передать бразды правления полковнику Чистякову. Впрочем отставной диктатор вскоре колонию покинул и переехал на эстансию Бонси, где получил какую-то службу, а впоследствии возвратился в Европу.

Расчет этой группы был прост: она оставалась единственной наследницей двух чакр, большей части скота и инвентаря, непроданного урожая и всего того, что за год было построено и сделано общими трудами. Казалось, что теперь, когда количество ртов уменьшилось почти вчетверо, оставшимся все это даст возможность сносного существования. Но эти надежды не оправдались. Жизнь без наличных денег оказалась невозможной, а их приток был ничтожен. В результате, уже через несколько месяцев люди начали разбегаться. У оставшихся дела шли все хуже, обнищание прогрессировало и у некоторых положение становилось безвыходным, ибо не было даже возможности оплатить проезд до Асунсиона. Это была медленная агония, о развитии которой могут дать правильное представление следующие выдержки из писем, которые я получал в те годы от последних могижан колонии.

Декабрь 1935 г. (через три месяца после развала). "Живем предельно бедно. Деньги иссякли окончательно и фактически мы перешли на подножный корм: мясо едим раз в неделю и то лишь потому, что пока

нам дают его в долг. Общая наша мечта — дотянуть как-нибудь до нового урожая, когда, Бог даст, вырчим хоть что-то за хлопок. Отделился от нас Богданов, который теперь работает самостоятельно и копит деньги на отъезд в Бразилию”.

Май 1936 г. "Урожай вышел ниже среднего. Большую часть хлопка съели муравьи, но все же продали его на десять тысяч, да на пять тысяч кукурузы, это только дает возможность заплатить самые срочные долги, чтобы не лишиться дальнейших кредитов. Нас стало еще меньше: Уехал в Асунсион Дюженко, которому оттуда прислали деньги на дорогу. Туда же вскоре уезжает Ходунов, а Криворотов перебрался в село Оркету, где подрабатывает починкой дырявой посуды и собирается жениться на какой-то парагвайке”.

Ноябрь 1936 г. "Часть долгов удалось заплатить, продав пару волов. Наличности едва хватает на покупку таких предметов роскоши, как соль и керосин. Некоторые дошли до полного обнищания. Мясников отделился от Раппов, поставил себе в лесу шалаш, питается вареной маниокой и кукурузой, оброс бородой и ходит завернувшись в одеяло... Словом, Андрюша одичал, что и с нами, вероятно, скоро случится”.

Апрель 1937 г. "В этом году увидели маленький просвет в нашей собачьей жизни: удалось продать хлопок, залежавшийся от первого урожая, да немного свежего, это дало нам 60.000 пезо. При дележе на девять человек на каждого вышло не густо, но все же с долгами расплатились и даже появилась возможность унести отсюда ноги, чем поспешили воспользоваться четверо, и осталось нас всего пять”.

Декабрь 1937 г. "В этом году в нашем округе почти весь хлопок съела саранча, а маниоку какая-то гусеница. Сильно ощущается недостаток овощей и зелени, но мы нашли в лесу съедобную травку, из которой получается недурной салат. Недавно съели своего последнего вола. Теперь нас четверо, так как Полякевич уехал в Асунсион.

Июнь 1938 г. "Хлопок в этом году уродился скверно, а цена на него вдвое ниже прошлогодней. Еле-еле перебиваемся. Уехал в Концепсион Владимир Компанец, устроился в тамошней школе преподавателем

французского языка, так что осталось нас трое. Вокруг царит мерзость запустения, все заросло бурьяном, у большинства построек провалились крыши — не хватает ни времени, ни желания с этим бороться, да на кой черт оно нам? Вокруг развелось много гремучих и коралловых змей, удавы тащат из курятника последних кур... Чем глубже скатываемся в бездну нищеты, тем большее зло разбирает на Керманова, ведь это его дилетантская диктатура довела нас до такого состояния! А посмотрите на менонитов, которые здесь поселились одновременно с нами и при том не имели ни гроша денег, — сейчас все они стали на ноги и живут дай Бог каждому”.

Апрель 1939 г. "Месяц тому назад уехал Колесников, его устроили на службу в каком-то провинциальном городке и это для него спасение, потому что он последнее время сильно болел и в наших условиях едва ли протянул бы долго. Через неделю уезжаю и я, удалось устроиться рабочим на мельницу, хоть отъежусь немного, а дальше — что Бог даст. Остается тут один Чистяков, но и он, конечно, долго не задержится. Так закончила свое существование наша бесславная "Надежда”.

В конечном итоге все члены нашей колонии, одни раньше, другие позже, очутились в Асунсионе. Здесь постепенно все устроились на службу, а если кое-кому и пришлось заниматься физическим трудом, то это длилось недолго.

Когда в столицу прибыла первая партия беглецов, к которой принадлежал и я, мы сразу сделали визит Беляеву. Казалось, наше появление его не очень удивило.

— А, очередные жертвы генерала Беляева! — воскликнул он, стараясь напустить на себя строгость. — Ну, рассказывайте, почему сбежали из колонии?

Мы в общих чертах изложили ему положение дел и причины развала нашего колхоза.

— Эх вы, малодушные! Не хватило терпения дождаться результатов труда, начатого с таким успехом! Ожидали, что вам сразу же посыпятся в рот золотые яблоки! Что же вы теперь думаете делать?

— Прежде всего хотим подыскать недорогую квартиру, чтобы по-возможности поселиться вместе, затем надо получить в полиции удостоверения личности, а после будем искать службу.

— Трудновато будет и с квартирой, и со службой, но не унывайте, все, в конце концов, обойдется, и, по мере возможности, я вам помогу.

И действительно, генерал раздобыл нам квартиру, выхлопотал необходимые документы, а потом многим помог устроиться на службу. Правда, в большинстве случаев это были небольшие должности в различных министерствах, с грошевым жалованьем, но при парагвайской дешевизне прожить на него все таки было можно, а постепенно все устраивались лучше. Несколько человек из нашей группы позже были приняты офицерами в армию и с годами все дослужились до высоких чинов. Из остальных, насколько я знаю, в итоге тоже никто не пожалел о том, что покинул Европу.

Лично я, пробыв в Асунсионе около года, переселился в Аргентину, где получил место инженера по своей специальности.

ЭПИЛОГ

Приток русских колонистов в Парагвай давно прекратился, условия там за истекшие десятилетия тоже значительно изменились, поэтому мои очерки сегодня имеют скорее историческое значение, чем информативное. Но все же некоторые читатели могут меня спросить: типичен ли наш случай для Парагвая и может ли там успешно развиваться колонизация?

На последнее сама жизнь уже давно ответила утвердительно. Многие русские колонии, зародившиеся одновременно с нашей, пережив неизбежные невзгоды первых лет, прочно стали на ноги и достигли относительного благосостояния. Но следует добавить, что эти колонии были основаны крестьянами, тогда как все составившиеся из городских элементов почти сразу зачахли.

Главная причина этого заключается не в отсутствии у горожан агрокультурных знаний или крестьянской трудоспособности, а в том, что у них не было той высшей формы настойчивости, которая порождается только безвыходным положением. Среди людей городских профессий, взявшихся в Парагвае за земледелие, было немало таких, которые не боялись никакого труда и работали ничуть не хуже крестьян. С другой стороны, у многих природных земледельцев в парагвайских условиях опускались руки и они впадали в подлинное отчаянье. Но проходило два-три года — стойкий горожанин бросал свою чакру и уезжал в Асунсион, а "шаткий" крестьянин оставался на месте и налаживал недурное хозяйство.

Причина этого проста: когда на горожанина посыпались неудачи или его одолела тоска, он вспомнил, что у него есть в запасе какая-то городская специальность, которая может избавить от всех "прелестей" кампы. У крестьянина такой возможности не было. Отрыв от земли означал для него крушение всего искони привычного жизненного уклада, а потому он волей-неволей должен был стиснуть зубы и перетерпеть. Это терпение и приводило его к победе.

Из колонистов городского типа, наша группа, безусловно, имела больше шансов на успех, чем все остальные: она была отлично экипирована, достаточно обеспечена деньгами, а ее людской состав был однороден, дисциплинирован и качественно хорош. И если бы нашей общей судьбой и кассой не распоряжался человек, ничего не смысливший ни в хозяйстве, ни в вопросах администрации, но в то же время безгранично самоуверенный, — судьба колонии могла сложиться совершенно иначе. Особенно если бы мы сделали ставку на скотоводство, которое в нашем районе обещало неизмеримо больше того, что могло дать земледелие.

Но все это осталось в далеком прошлом и очень многие участники описанных здесь событий уже совершили свой последний путь в асунсионском трамвае... А те, которые еще живы, вероятно как я, вспоминают пережитое без особой горечи.

Конец.

У КОСТРА

Мы сидим у костра, а вокруг молчаливая ночь;
Искры с треском взлетают и быстро уносятся прочь.
Я на реку гляжу, — за рекою горят светляки
И обрызгана золотом гладь этой тихой реки.

Тянет сыростью с полных загадки и жути болот,
Там живут лихорадки и нечисть лесная живет.
Черный лес подступил и сковал очертанья полян
Тянет к нам свои цепкие, длинные руки лиан.

Над водой потянулся чуть видимый, призрачный пар,
Кони жмутся к огню, — за рекою не спит ягуар.
Он, державный хозяин, гроза этих темных ночей,
Здесь впервые увидел сегодня костер и людей.

И ощерившись злобно, и гневно хвостом шевеля,
Он глядел через реку на желтые блики огня.
В нем тревога клубилась и сделалось страшно ему,
И ушел он понуро в лесную, привычную тьму.

Мы сидим у костра и такой в его треске уют!
Эту радость лесную не многие ныне поймут:
Для чего в городах им костры, когда есть фонари?
Кто ж счастливей — они, иль живущие здесь дикари?

Мне сегодня и думать над этим вопросом невмочь...
Я беру карабин и стреляю в волшебницу-ночь.
Может быть и удобней костра городской наш фонарь,
Но сегодня я счастлив: я пьяный, свободный дикарь!

НА КАМПЕ

После жаркого летнего дня
Как желанны вечерние тени!
Изукрасила небо заря,
Кампа в мареве неги и лени.

На багровом экране небес
Неподвижные парятся пальмы
А за ними — темнеющий лес
И лагуны, блестящие сталью.

Тишина. Лишь туда, где светлей,
Где пылает заря золотая,
С легким криком над синью полей
Пламена летят попугаи.

Изнуренная зноем трава
Шелестит у коня под ногами,
И вещает седая сова,
Что так было и будет веками...

И беспечно, бездумно я рад,
Ни дороги, ни цели не зная,
Ехать, ехать вперед наугад
По безлюдным степям Парагвая.

ТРОПИЧЕСКАЯ НОЧЬ

Налитый тайной первозданною
Лес обступил меня кругом
И змеями повис лианными
Над затухающим костром.

И чар природы экзотической
Не разорвать, не превозмочь...
Пьянясь отравой тропической,
Благословляю эту ночь.

И жизнь не кажется напрасною,
И боль утрат не так остра.
Когда горит в зените ясное
Созвездье Южного Креста.

Когда с лесными отголосками
Я звоны струн сердечных слил,
Когда в реке играет всплесками
Шальной от счастья крокодил.

И зыбится в воде сверкающий
Луной осеребренный круг,
И что-то шепчет примиряюще
Одевший берега бамбук.

А явь сплетается со сказкою,
Откуда Ты, тропой чудес,
Спешишь с любовью и опаскою
Ко мне, сквозь этот дикий лес.

И подойдешь к костру, свободная
От всех общественных цепей,
Чтоб приобщиться к первородному
Простому счастью дикарей.

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Что мы знаем о русской эмиграции? В сущности, немного. Правда, в последнее время начали появляться книги о ней, стали переиздаваться произведения писателей, которые совсем недавно были еще под запретом только потому, что более полувека назад их авторы вынуждены были покинуть Россию. Мы заново открываем этих поэтов, публицистов, философов, критиков — словом, целый мир, носящий название Русское Зарубежье, Зарубежная Россия. И начинает казаться, что история русской эмиграции чуть ли не вся состоит из великих, выдающихся или по меньшей мере просто громких имен, что ее география замыкается Берлином, Парижем и другими интеллектуальными столицами Европы.

Все это, конечно же, не так. После революции из России выехало около двух миллионов человек (во всяком случае, так считали большевики, в том числе такие информированные, как В.И. Ленин и Н.С. Рыков; по данным лиги наций к 1926 г. Россию оставили 1160 тысяч человек, а общая численность русской диаспоры за рубежом в это время, включая дореволюционную эмиграцию, составляла 10 миллионов человек). И, разумеется, далеко не все из них были или стали знаменитыми. Судьбы большинства сложились много проще, может быть, труднее, жестче, но от этого не потеряли своей примечательности, не стали менее интересными для нас. Тем более, что рассказы об этих судьбах, пусть самые неприятные, порой производят впечатление настоящего авантюрного, приключенческого романа, но романа, не отягченного авторской выдумкой, а завораживающего именно своей документальностью, подлинностью.

Хотя у кого не замрет сердце от одних только экзотических названий: Экваториальная Африка, Борнео, Конго, Ямайка, Тасмания, Филиппины. Куда только не заносила эмигрантская судьба сотни и тысячи русских людей! Где только не строили города и мосты, добывали золото и нефть, прокладывали дороги, лечили и учили друг друга и местных жителей все эти русские офицеры, инженеры, врачи, студенты, гимназисты, ремесленники, мастеровые, крестьяне — те, которых еще совсем недавно называли одним общим именем: белогвардейцы.

Книга Михаила Дмитриевича Каратеева (1904 — 1978) как раз и рассказывает о драматической судьбе русских колонистов, рядовых эмигрантов в Южной Америке, в Парагвае. Впервые

она увидела свет в Буэнос-Айресе (Аргентина) в 1972 г. Выпущена была за счет автора тиражом 500 экземпляров. Не менее удивительна для современного читателя такая деталь: домашний адрес автора помещен здесь в выходных данных книги. Сам автор получил в Бельгии образование инженера-химика, но работать по специальности ему почти не пришлось, разве что такой работой следует считать каторжный труд на боливийских рудниках (о чем он впоследствии рассказал в цикле очерков "На рудниках Боливии"), в джунглях Уругвая и Парагвая, Аргентины (о чем также были написаны книги). Помимо этого М.Д.Каратеев является автором исторической эпопеи "Русь и Орда" в пяти книгах ("Ярлык великого хана", 1958; "Карач-Мурза", 1962; "Богатыри проснулись", 1963; "Железный хромец", 1967; "Возвращение", 1967), посвященной драматическим страницам русской истории XIV — XVI вв. Ему так же принадлежит книга исторических очерков "Из нашего прошлого" (1968) и "Арабески истории" (1971), рассказывающие главным образом о мусульманском Востоке.

"По следам конквистадоров" — первая книга М.Д.Каратеева, переизданная у него на Родине. Этим изданием МИК открывает свою новую серию "Судьбы русской эмиграции", где предполагается опубликовать мемуары, дневники, документальные очерки и прочие материалы, связанные с жизнью и деятельностью русских людей за границей.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I

В ПОИСКАХ ОБЕТОВАННОЙ ЗЕМЛИ

7

ЧАСТЬ II

КОЛОНИЯ „НАДЕЖДА“

113

Новая серия

СУДЬБЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

КАРАТЕЕВ

Михаил Дмитриевич

По следам конквистадоров

Научный редактор *В.Гуминский*

Редактор *Е.Кирсанова*

Художник *О.Богомолова*

формат 84×108/32

7,5 п.л.

цена договорная

тираж 100 000 экз.

Московская информационно-издательская

фирма «Мир и культура»

ИИЦ «Раритет политика»

отпечатано по оригинал-макету

офсетной печатью

на ордена Трудового Красного Знамени

Тверском полиграфкомбинате.

Государственная ассоциация предприятий,

объединений и организаций

полиграфической промышленности

«АСПОЛ». 170024, г. Тверь,

проспект Ленина, 5.

З. 2589.

